



У И Л Ъ Я М

СТАЙРОН

*ПРИЗНАНИЯ
НАТА ТЕРНЕРА*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Уильям Стайрон

Признания Ната Тернера

Серия «Эксклюзивная классика (АСТ)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66856483

Признания Ната Тернера: [роман] / Уильям Стайрон: АСТ; Москва;

2021

ISBN 978-5-17-144840-0

Аннотация

Одна из самых скандальных и неоднозначных книг XX века, впервые изданная в 1967 г., за которую Уильям Стайрон получил Пулитцеровскую премию. Автор предлагает в своем романе весьма неожиданную, но от того не менее убедительную версию случившегося в 1831 г.

Отчаянный бунт рабов под предводительством невольника-проповедника Ната Тернера потряс США своей поистине варварской жестокостью: восставшие убивали белых без разбору, не щадя ни женщин, ни детей. Подавление мятежа было не менее жестоким – усмирители пытали и казнили, не различая виновных и невинных.

Но только ли ярость людей, забитых до потери инстинкта самосохранения, стояла за этим странным бунтом, участники которого считали своего предводителя боговдохновенным святым? Кем был в действительности Нат Тернер? Как жил,

кого любил, что ненавидел и чего добивался, поднимая людей на заведомо обреченное дело?

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Содержание

От автора	6
Обращение к общественности	8
Часть первая	14
Конец ознакомительного фрагмента.	158

Уильям Стайрон

Признания Ната Тернера

Роман

William Styron

The confession of Nat Turner

© William Styron, 1967

© Перевод. В. Бошняк, 2021

© Издание на русском языке AST Publishers, 2021

От автора

Единственный осуществившийся и сколько-нибудь длительный мятеж, занесенный в хроники волнений американских негров времен рабства, произошел в глуши юго-восточной Виргинии в августе 1831 года. От тех времен до нас дошел только один значимый документ, касающийся этого восстания, – тоненькая двадцатистраничная брошюрка под названием «Признания Ната Тернера», изданная в Ричмонде спустя примерно полгода; свою книгу я предварил вступлением к той брошюрке, а некоторые отрывки из нее вставил в повествование. В общем-то я старался как можно реже отклоняться от фактов, *признаваемых известными*, – как о самом Нате Тернере, так и о восстании, им возглавлявшемся. Однако, вторгаясь в области, познанные недостаточно – будь то детство Ната, его внутренние мотивировки и тому подобное (что делать, о таких вещах знаний почти всегда не хватает), – я разрешал себе полную свободу воображения, но полагаю, что не вышел за рамки тех скудных сведений, которые об институте рабства дает история. Относительность времени позволяет нам быть гибкими в суждениях: 1831 год был одновременно и очень давно, и чуть не вчера. Возможно, читатель возымеет желание извлечь из повествования мораль, тогда как я пытался лишь воссоздать человека и его эпоху, причем так, чтобы в результате получился не столько «исто-

рический роман» в обычном понимании, сколько раздумья на тему и по поводу истории.

Уильям Стайрон

Роксбери, Коннектикут

Новый год, 1967

Обращение к общественности

Недавняя смута в Саутгемптоне весьма взволновала общественное мнение и вызвала тысячи праздных, преувеличенных и превратных измышлений. Впервые в нашей истории произошло открытое смятение рабов, сопровождавшееся к тому же столь мерзостными проявлениями жестокости и бесчинства, что оные не могли не произвести глубокого потрясения умов не только в общине, испытавшей сию прискорбнейшую трагедию, но и во всех уголках нашей страны, где можно встретить представителей упомянутой категории населения. Повсюду граждане пытаются уразуметь причину появления и развития сего возмутительного заговора, понять, чем руководствовались его жестокосердные исполнители. Мятежные рабы были поголовно уничтожены, либо схвачены, подвергнуты суду и казнены, однако никто, за исключением их предводителя, не сообщил положительно ничего разумного ни о двигавших ими помышлениях, ни о тех средствах, коими они полагали достичь желаемой цели. Все, так или иначе связанное с этой печальной и загадочной историей, оставалось неведомым, пока не захватили предводителя разбойной шайки Ната Тернера, чье имя отозвалось во всех пределах обширной нашей державы. В воскресенье, тридцатого октября, некий человек, действуя в одиночку, поймал сего «лихого разбойника» в земляной норе

неподалеку от усадьбы его убиенного владельца и на следующий день водворил в окружную тюрьму, причем тот нимало не оказывал сопротивления. Поимщиком был Бенджамин Фиппс, вооруженный заряженным, якоже подобает, дробовиком. Единственным оружием Ната оказалась небольшая легкая шпага, которую он незамедлительно отдал и умолял пощадить его жизнь. С разрешения тюремщика я имел к нему свободный доступ от начала его заточения и, коль скоро он проявил желание по доброй воле сделать полный признательный отчет о замысле, развитии и претворении мятежного смущения рабов, коего он был вдохновителем и главой, я вознамерился, с его собственных слов, перенести его признания на бумагу, а за сим, к вящему удовлетворению любознательности общества, опубликовать их, ничего или почти ничего в них не меняя. Правильность записи его откровений удостоверяется свидетельством членов Суда округа Саутгемптон, к сему прилагаемым. Касаемо самих признаний, оные, несомненно, отмечены печатью правды и искренности. В отличие от всех прочих подвергнутых розыску злоумышленников их главарь не только не пытался обелить себя, но честно признавал всю ответственность за содеянное. Так, он признал, что не только подстрекал к мятежу, но и нанес первый удар, положивший начало кровавым бесчинствам.

Из этого с очевидностью явствует, что, в то время как на поверхности течение общественной жизни представля-

лось спокойным и умиротворенным, в то время как никто не слышал даже отзвука зловещей подготовки, шороха, который предупредил бы обреченных поруганию и смерти обывателей, угрюмый фанатик, таясь, аки в средоточии тенет, в своих несообразных, изуверских умышлениях, задумывал огульное и всеобщее избиение белых. Да, умышлениях, и не только злокозненных, но бестрепетно и страшно воплощенных на всем опустошительном пути безжалостных душегубов. Мольбы о пощаде не трогали их каменных сердец. Вспоминание прошлых к ним снисхождений нимало не умягчало наглости произволения бесноватой ватаги. Мужчины, женщины и дети, стар и млад – все подверглись единой жестокой пагубе. Ни одна орда дикарей в кровавом набеге не была столь щедра на расправу. В умножении же злодеяний их сдерживала, по-видимому, лишь боязнь собственной уязвимости. Также же далеко не самое малоприметное в сей ужасающей истории – это вопрос о том, как случилось, что шайка, побуждаемая столь дьявольскими намерениями, оказала весьма слабое сопротивление, едва на ее пути встали белые с оружием в руках. Казалось бы, одно отчаяние и то способно было вызвать большее упорство. Но нет, каждый искал спасения поодиночке: пытаясь скрыться, либо воротясь домой в надежде, что его участие в смуте останется незамеченным, и по прошествии нескольких дней все были либо застрелены, либо пойманы, подвергнуты суду и казнены. Нат пережил всех своих соковников, но

и его хождения вскоре прервет виселица. Обществу же для исследования предлагается его собственный отчет о заговоре в первоначальном изложении и без каких-либо сторонних толкований. Прочтение оногo дает пугающий и, есть надежда, полезный урок касательно действия умов такого сорта, что силятся вступать в обращение с вещами, их постижению недоступными. Как поначалу ум его смущен был, сбит с толку, затем же растлился, и в окончательном помрачении злодей измыслил и совершил гнуснейшие, поистине душераздирающие деяния. Нелишне также, что сие, с одной стороны, показывает, сколь разумны и благоустроительны в обуздании упомянутой категории населения наши законы, с другой же – убеждает тех, кто казньo душегубов обнадежен, да и всех граждан купно, что исполняются законы неукоснительно и сурово. Поколикo свидетельствам Ната можно верить, то планы и поползновения зачинщика были ведомы лишь нескольким ближайшим его подручным, а смута в округе – событие исключительно местное. И была таковая не сведением чьих-то счетов, не порывом внезапногo гневного озлобления, но результатом заранее обдуманнoх и целенаправленнoх усилий закосневшегo в лукавоухищрениях ума. Порождение угрюмо-страстного фанатизма, смута сия затронула материи слишком истончившиися, изначально слишком к такому поправанию готовые, и теперь надолго запечатлется в анналах народной памяти; еще многие матери, прижимая к груди ненаглядное чадо, содрогнутся,

вспомнив о Нате Тернере и его ватаге кровожадных вырожденков.

С верою, что нижеследующее описание, призванное осветить вопросы, каковы в ином случае неминуемо порожидали бы догадки и сомнения, будет принято благосклонно, оное вниманию общественности почтительно преподносится. Ваш покорный слуга,

Т. Р. Грей

Иерусалим, округ Саутгемптон, Виргиния;

5 ноября 1831 года.

Мы, нижеподписавшиеся, члены Суда, собравшегося в Иерусалиме в субботу пятого ноября 1831 года для слушаний по делу негра, раба по имени Нат, он же Нат Тернер, ранее находившегося в собственности покойного Патнема Мура, настоящим удостоверяем, что записанные Томасом Р. Греем признания Ната прочтены в нашем присутствии подсудимому; за сим, когда председательствующий в суде спросил его, может ли он назвать какую-либо причину, по которой его не следует приговаривать к смерти, подсудимый ответил, что более сказать ему нечего сверх того, что он сообщил уже мистеру Грею. Собственноручно подписи и печати приложили в Иерусалиме, того же 1831 года, ноября, 5-го дня:

Джеремия Кобб, <печать>

Томас Претлов, <печать>

Джеймс У. Паркер, <печать>

Кэр Боуэрз, «печать»

Сэмюэль Б. Хайнз, «печать»

Орис А. Браун, «печать»

Часть первая

Судный день

*И отрет Бог всякую слезу с очей их,
и смерти не будет уже;
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло.*

Над пустынной песчаной косой, что вытянулась у впадения реки в море, на сотни футов вверх вознесся холм или, скорей, утес – последняя, самая дальняя оконечность суши. Попробуйте представить себе этот утес, а под ним устье реки – широко разлившейся, мутной и неглубокой, подернутой складчатой рябью в том месте, где река сливается с морем и течение сталкивается с океанским приливом. Близится вечер. Погода ясная, все сверкает, и кажется, что всюду солнце, тени нет вовсе. Может быть, это начало весны; или конец лета; какое время года, не так важно, важнее то, что воздух мягок и благорастворен, нет ветра, нет жары, нет холода; будто и времени года никакого нет. Как всегда, я один и словно плыву на чем-то вроде лодки (маленькой-маленькой, то ли это каноэ, то ли каяк, я в ней полулежу, приятно откинувшись, – во всяком случае, у меня нет ни чувства неудобства, ни даже напряжения, и я не утруждаюсь греблей; лодка движется, вяло влекомая током вод), я тихо плыву в сторону

мыса, за которым вширь и вдаль без конца и края раскинулось темно-синее море. На берегах реки безлюдье и тишь; ни зверь не прошуршит в подлеске, ни чайка не взмоет с не тронутого ничьей ногою песка.

И так действует это полное молчание и совершеннейшее одиночество, что кажется, будто жизнь здесь не погибла даже, а исчезла, просто остановилась, и все это – берега, речное устье и морской прибой – навсегда останется неизменным под недвижным оком слепого солнца.

Подплыв ближе к мысу, я поднимаю взгляд на утес, нависающий над морем. Там вижу опять-таки наперед известную мне картину. Залитое солнцем дивно-белое строение величаво проступает на фоне синего безоблачного неба. Прямоугольное, оно сложено из мрамора подобно храму; архитектура его проста: никаких колоннад и даже никаких окон, вместо них ниши, назначение которых загадочно, – вверху скругленные арками, они вереницей обегают две видимые стены. Здание не имеет двери – по крайней мере мне дверь не видна. Без дверей, без окон, оно как бы лишено смысла, напоминая, как я сказал уже, храм, но храм, где никто не молится, или склеп, где никто не похоронен, или памятник чему-то загадочному, невыразимому, не имеющему названия. Но, как всегда, когда я вижу этот сон или видение, я не задумываюсь над назначением странного сооружения, одиноко стоящего на дальнем океанском мысу, поскольку в самой его бессмысленности чудится какая-то всеохватная тайна, взяв-

шлись разгадывать которую ощутишь только полнейшую и, быть может, еще более мучительную растерянность, будто попал в лабиринт.

Значит, опять это видение, которое навязчиво, вновь и вновь, повторяется который год. Опять я в утлой лодчонке, и опять течение тихой реки несет ее к морю. И снова в той дали, куда я плыву, тяжело, но без угрозы, вздыхает солнечный океан. И вот коса, и вот высокий утес, и, наконец, ввысь невозмутимо возносится дивно-белый храм, но я не чувствую ни страха, ни благоговения, ни смирения, одно лишь осознание великой тайны, и я плыву себе дальше, дальше, в морскую ширь...

Ни в детстве, ни теперь, когда мне перевалило за тридцать, так и не смог я разгадать смысл этого сна (или *видения*, ибо, хотя обычно оно посещало меня в моменты пробуждений, бывали случаи, что, работая в поле, обходя в лесу силки на кроликов или выполняя какое-нибудь разовое поручение, я вдруг совершенно въяве видел, как передо мною вспыхивает эта сцена со всею глубиной, четкостью и устойчивостью материальности, словно картинка из Библии; этот мгновенный сон наяву вдруг *пресотворял* перед моими глазами и реку, и храм на океанском мысу, но так же быстро все пропадало); ускользало от меня и чувство, которое этот сон вызывал во мне: чувство тайны, успокоительной в своей неразрешимости. У меня нет сомнений, впрочем, что все это исходит из детства, когда белые частенько говорили при мне о городе

Норфолке и о том, чтобы «поехать к морю». Ведь Норфолк всего в тридцати милях к востоку от Саутгемптона, а океан в нескольких милях за Норфолком, куда белые наезжали, бывало, по торговым надобностям. Не только белые – знавал я даже и негров, которые ездили из Саутгемптона со своими хозяевами в Норфолк и видели океан. Их рассказы о тамошнем пейзаже – о бесконечной синеве, о водной шире, простирающейся куда хватает глаз и даже дальше, словно до самого дальнего края света – так распалили мое воображение, что желание лицезреть это собственными глазами превратилось в подобие острого, чуть не телесного голода, и случались дни, когда у меня будто и в голове ничего не оставалось, кроме воображаемых волн, далекого горизонта и стонущего над морем ветра, кроме вольных голубых небес, царственным куполом нисходящих к востоку, к Африке – такое было чувство, словно, единожды увидев это, я разом постигну все древнее, океаническое, хаотическое великолепие мира. Но поскольку удача мне в этом отношении не споспешествовала и я так и не удостоился поездки в Норфолк к океану, приходилось удовлетворяться одним лишь внутриумственным, воображаемым видением; вот откуда этот фантом, эта уже описанная мною постоянно повторяющаяся иллюзия, хотя, отчего вдруг на утесе храм, по сей день загадка – загадка в нынешнее утро еще и большая, нежели когда-либо за все те годы, что я себя помню.

Исчезая, видение чуть помедлило – полусон, полувоспо-

минание о нем в рассветном сумраке, что забрезжил у меня перед глазами, едва я их открыл, – и я вновь смежил веки, наблюдая, как белый храм истончается в безмятежно-тайном свете и пропадает, удаляется, забывается.

Приподнявшись с кипарисовой скамьи, на которой спал, я безотчетным сонным движением резко сел, повторив ошибку, которую совершал уже четыре раза за такое же число утренних пробуждений: сбросил ноги со скамьи вбок, но вместо того чтобы достичь ими пола, только того и достиг, что натянул цепь ножных кандалов, металл впился в щиколотки, и ноги косо повисли в воздухе. Я вновь поднял их на скамью, потом сел и, дотянувшись рукою, стал растирать под кандалами кожу на лодыжках, чувствуя пальцами, как с током крови возвращается тепло. Впервые в этом году утро дохнуло зимой – стало сыро и холодно, я заметил даже бледную полосу изморози на стыке пола из твердой глины с нижней доской тюремной стены. Несколько минут я так сидел, растирая лодыжки и поеживаясь. Вдруг я очень проголодался, желудок прямо скрутило. Пока все тихо. Позавчера в соседнюю камеру посадили Харка, и теперь из-за дощатой перегородки доносится его тяжелое дыхание – клопочущие, придушенные всхлипы, как будто воздух проходит у него прямо сквозь рану. Мгновение я был близок к тому, чтобы шепотом позвать его, разбудить, ведь до этого нам поговорить не удавалось, но он дышал так медленно, так изможденно. Я подумал: ладно, пусть спит, и слова, уже готовые

сорваться у меня с губ, остались произнесенными. Неподвижно сидя на скамье, я наблюдал, как рассветные сумерки рассеиваются, свет мало-помалу украдкой вливается в камеру, наполняет ее, словно чашу, жемчужным сиянием. Где-то прокукарекал петух, и крик его был далек и тих, как очень дальнее боевое «ура», он отозвался еле слышным эхом, замер, и опять тишина. Потом еще один петух, уже ближе. Я долго сидел так, слушал и ждал. Минута шла за минутой, но, помимо дыхания Харка, не раздавалось ни звука, пока наконец откуда-то не донесся сигнал рожка – такой грустный и такой знакомый звук, мягкий и какой-то полый, словно застихающий стон с полей за Иерусалимом: это где-то на ферме будили негров.

Повозившись с цепью, я ухитрился спустить со скамьи ноги и встать. Цепь давала ногам ходу около ярда; прошаркав, сколько возможно, и вытянув шею, я смог выглянуть из неостекленного зарешеченного окошка на рассветную улицу. Иерусалим просыпался. С того места, где я стоял, видны были два дома, притулившиеся на краешке речного откоса у съезда на деревянный мост. В одном кто-то ходил со свечой: мерцающий свет переместился из спальни в горницу, в сени, потом на кухню, где в конце концов и остался – желтоватый, дрожащий. На двор другого дома, что ближе к мосту, вышла старуха в пальто и с ночным горшком в руках; держа дымящийся сосуд перед собой, как алхимик свой плавильный тигель, она, прихрамывая, двинулась через замерзший двор к

побеленной дощатой уборной; дыхание исходило у нее изо рта тоже на манер клубов дыма. Открыла дверь уборной, вошла, в морозном воздухе раздался краткий вскрик поржавелых петель, и ружейным выстрелом бахнула закрывшаяся за нею дверь. Внезапно я ощутил такую дурноту, что и чувство голода, и вообще все чувства исчезли. Перед глазами заплясали пятнышки света; казалось, вот-вот я упаду, но, схватившись за подоконник, я удержался; прикрыл глаза. Когда я вновь их открыл, свеча в первом доме уже погасла, а из его трубы сероватой струйкой курился дым.

Тотчас издалека донесся дробный стук – глухой, сбивчивый ритм торопливых копыт; он становился громче и громче, приближаясь с запада, с противоположной стороны реки. Я поднял взгляд на тот берег, он был всего в пятидесяти ярдах; там маячила, постепенно прорисовываясь, стена леса: спутанные кипарисово-эвкалиптовые заросли над холодными, мутными и медленными водами в рассветной мгле. В стене леса прореха (там проселок), в прорехе тут же возникает лошадь, легким галопом несущая кавалериста, за ним едет еще один, потом еще, всего трое военных; гулко, как раскатившиеся по двору бочки, они громыхнули по кипарисовому мосту копытами, прогремели, проскрипели досками и умчались в Иерусалим, напоследок тускло блеснув стволами ружей. Я смотрел, пока они не скрылись из виду и пока стук копыт не стал тихим, глухим рокотом где-то в городе у меня за спиной. Снова стало тихо. Закрыв глаза, я склонился

лбом на подоконник. В темноте глаза отдыхали. Много лет у меня была привычка в этот утренний час молиться или читать Библию, но уже пятый день я сидел в заточении, Библию мне не давали, а насчет молитвы – странное дело, меня больше даже и не удивляло, что теперь я совершенно неспособен выдавить из себя что-либо на нее похожее. Нужда в молитве сохранилась – страстное желание исполнить то, что за годы взрослой жизни стало обычным и естественным, как телесное отправление, но теперь я сделался лишен способности молиться в такой же мере, как если бы для этого сперва требовалось решить задачу по геометрии или иной столь же неведомой науке. Когда молитвенный дар покинул меня – месяц назад, два месяца, может, раньше? – не припомню. Было бы как-то легче, если бы я понимал причину, по которой сила сия изменила мне, но теперь я отвержен и от этого разумения, так что, похоже, способ перекинуть мост через бездну между мной и Богом утрачен напрочь. Я постоял, прижавшись лбом к холодному деревянному подоконнику, и вдруг почувствовал жуткую пустоту. Вновь попытался молиться, но в голове царил черная бездна, и единственное, что звучало в мозгу, – это до сих пор еще не затихшие отзвуки торопливых копыт да петушинные крики где-то далеко в полях за Иерусалимом.

Вдруг сзади стук по решетке. Я открыл глаза и, повернувшись, увидел подсвеченное фонарем лицо Кухаря. Парню лет восемнадцать-девятнадцать, и, судя по лицу – по-дет-

ски глуповатому, в прыщах и оспинках и с безвольным подбородком, – он так меня боится, что мне стало жаль беднягу: уж не наложит ли мое присутствие какой-нибудь неизгладимый отпечаток на его душевное здравие! Опаска, с которой он смотрел на меня пять дней назад, превратилась в неотступный страх, а страх – это видно сразу – разросся до слепящей, разлагающей жути: как так – день за днем я сплю, ем, дышу, и смерть никак не приберет меня! Из-за решетки донесся его голос, дрожащий от боязни.

– Нат, – проговорил он. Потом снова: – Нат, эй, старина! – И опять робко, неуверенно: – Нат, просыпайся.

Какой-то краткий миг хотелось заорать, крикнуть «Пошел ты!» и посмотреть, как он из штанов выпрыгнет, но я сказал только:

– Я не сплю.

Его явно это ошарашило – что я не сплю, стою у окна.

– Нат, – торопливо забормотал он. – Сейчас адвокат придет. Помнишь? Тебя видеть хочет. Ты готов?

Бормоча, он слегка заикался; тусклый фонарь освещал белое напряженное мальчишеское лицо, выпученные глаза и бескровный ободок страха вокруг губ. В тот миг я вновь почувствовал сосущую пустоту и боль в желудке.

– Маса Кухарь, – сказал я, – кушать хочется. Пожалуйста. Прошу вас, не могли бы вы добыть мне что-нибудь поесть, хоть немножко. Очень прошу вас, добрый молодой маса.

– До восьми завтрака не положено, – севшим голосом ото-

звался он.

На какое-то время я смолк, только глядел на него. Не знаю, может, это от голода, но в душе у меня вдруг пробудились остатки той запредельной злобы, того яростного удущья, которое я, казалось бы, похоронил в себе полтора месяца назад. Я вглядывался в безвольный абрис его ребяческого лица и думал: «Мункалф, детка, да как же тебе повезло-то! Такого бы, как ты, да Биллу на зубок!..» И тут безо всякой причины передо мной возник образ бешеного Билла, и я подумал, вроде и сам того не желая, все еще во власти мгновенной ярости: «Ах, Билл, Билл... Как наслаждался бы бешеный негр мяконькой плотью этого дурня!» Ярость увяла, улетучилась, оставив после себя мимолетное чувство тщеты, стыда и опустошенности.

– Ну, может, принесете мне хоть малю-юсенький кусочек хлебца! – умоляюще произнес я, про себя думая: «Станешь умничать – ничего не добьешься, а будешь лепетать, как нормальный ниггер, глядишь, и сработает. Терять-то мне ровным счетом нечего, тут уж не до гордыни». – Ну такой маленький кусочек хлебца, – продолжал я пресмыкаться, улещивать его. – Пожалуйста, добрый молодой маса. Очень уж ку-ушать хочется!

– До восьми нету завтрака, нету! – слишком громким голосом выпалил он, даже выкрикнул, и от выкрика пламя фонаря дрогнуло и заколебалось. С этими словами он выбежал вон, а я стоял в рассветных сумерках, дрожал и слушал, как

бурчит у меня в кишках. Немного погодя я прошаркал обратно к скамье, сел и, обхватив голову руками, закрыл глаза. Молитва опять маячила где-то рядом, на задворках сознания, беспокойно скреблась, как большой серый кот, и никак не могла ко мне пробиться. Так она и осталась там, вонне, в который раз уже отлученная, недопущенная, недостижимая, отъединенная от меня столь явно, будто между мной и Богом воздвиглись стены высотой до солнца. Тогда вместо молитвы я начал вслух шептать: *Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи...* Но даже и эти безобиднейшие слова выходили как-то не так, и, не успев начать, я прекратил попытку; знакомый псалом «на день субботний» отзывал во рту плесенью и тленом и звучал так же бессмысленно и порошне, как все мои бесплодные попытки молиться. Никогда я и представить себе не мог, что бывает такое чувство удаленности от Бога, разобщенности с Ним, не имеющее ничего общего ни с маловерием, ни с недостатком богоустремленности, ибо и верой, и устремлением к Нему я обладал поныне, но при этом чувствовал такое сиротливое, одинокое обособление, столь полную безнадежность, что, будь я брошен, подобно извивающейся гадине, живьем под самый тяжкий в мире камень, чтобы пребывать в ужасающей, вековой тьме, я бы не мог быть страшнее разлучен с духом Божиим.

Утренняя сырость начала понимать меня, охватывала

ознобом, пробирала до костей. Харк хрипел за стеной, как издыхающий старый пес – с бульканьем, содроганиями, тошнотными повякиваниями, на живую нитку сшитыми воедино болезненной нуждой в глотке́ воздуха.

Если кто проживет, как я, много лет, что называется, на земле – в лесах и болотах, где ни один животный инстинкт не главней другого, то постепенно обретет в высшей степени чуткий нюх; так и я унюхал Грея чуть ли не прежде, чем увидел его. Собственно, запах, который распространял Грей, и не требовал тонкого чутья: зимний рассвет стал вдруг майским утром, напитанным ароматом цветущих яблонь, и, пока Грей подходил к камере, это сладчайшее благоухание бежало впереди него. На сей раз Кухарь нес сразу два фонаря. Поставил один на пол и отпер дверь. Потом вошел, высоко подняв оба; за ним Грей. Внутри у двери стояла параша, Кухарь, поколебавшись, нервно пихнул ее ногой, отчего ее содержимое захлюпало, заплескалось. Грей, видимо, уловил исходящие от Кухаря эманации страха, потому что в тот же миг попенял ему:

– Ради Бога, парень, ты бы успокоился! В конце-то концов, ну что он может тебе *сделать*? – Голос у него оказался мягким и глубоким, а тон – дружеским и даже веселым, и в нем звучала этакая всеобъемлющая благорасположенность. Определить, что раздражает меня больше – этот его рыцарственный тон или шибяющий в нос приторный запах, в столь неурочный час я затруднялся. – Боже правый, ты что дума-

ешь, он тебя тут живьем съест?

Кухарь не ответил, молча поставил фонарь на вторую скамью, которая, подобно той, на которой сидел я, была приделана к стене напротив, потом подхватил парашу и с ней сбегал, хлопнув напоследок дверью и с чавкающим шмяком задвинув засов. Какое-то время после ухода Кухаря Грей стоял у двери, молчал, шурился и куда-то мимо меня испытующе поглядывал (то, что он близорук, я уже заметил прежде), затем опустился на скамью рядом с фонарем. Фонарь нам нужен будет ненадолго: даже за время, что адвокат усаживался, утро заметно прибавило льющегося в окошко бледного холодного сияния, а за стенами тюрьмы все громче ворочался просыпающийся городок – доносилось неспешное шарканье башмаков, хлопанье ставень, колодезные стуки и скрипы, собачий брех. Грей был осанистым, краснолицым мужчиной лет, наверное, пятидесяти с гаком, а глаза у него казались запавшими и красноватыми, словно он недосыпал. Он поерзал, удобнее устраиваясь на скамье, и рывком распахнул сюртук, обнаружив щегольской парчовый жилет, на котором жирных пятен нынче оказалось еще больше, чем в прошлый раз, а нижняя пуговка теперь была расстегнута, чтобы вместился животик. Снова адвокат устремил взгляд в мою сторону, шурясь и глядя чуть-чуть мимо, будто ему никак не поймать меня в фокус; затем он зевнул и один за другим высвободил пухлые изнеженные пальцы из перчаток, которые когда-то были желтыми, но засалились и истрепались.

– Доброе утро, Проповедник, – наконец произнес он. Когда я не ответил, он полез во внутренний карман жилета, извлек оттуда какие-то бумаги, развернул их и принялся разглаживать на колене. Примолкший, он держал бумаги под фонарем, так и сяк перекладывал, что-то себе под нос хмыкая и временами прерываясь, чтобы потрогать усы, седые и жиденькие, как тень под носом. На его щеках проступала щетина. От голода меня и так мутило, а тут еще его приторный запах... в общем, я сидел, глядел на него, молчал и еле держался, чтобы не сплевать. Мне уже надоело говорить с ним, видеть его, и впервые (может, голод тому виной, может, холод или то и другое вместе, а может, досада из-за неспособности молиться) я почувствовал, что неприязнь к нему начинает превозмогать лучшее, что во мне есть, – мое самообладание. Конечно же, я с самого начала, еще пять дней назад невзлюбил его – невзлюбил его манеру держаться, лицемерие самого его хождения ко мне, да и лично его с этой медоточивой карамельной вонью я ни во что не ставил, но вскоре осознал, сколь глупо было бы упорствовать, запираяться и молчать теперь, когда все кончено, а посуды его и угрозы тут ни при чем, ведь в любом случае что еще я могу потерять? Так что, едва мы начали, я решил, что враждебностью ничего не достигну, и сумел если не полностью подавить неприязнь (именно неприязнь, вряд ли ненависть – ее я испытывал лишь однажды к одному-единственному человеку), то скрыть ее, залить елеем вежливой уступчивости,

естественной в моем положении.

Потому что в первый раз, когда он передо мной появился, я не говорил ничего, а он горбился в осеннем желтоватом свете (вечернем, замутненном стелющимся дымком; помню, как сквозь прутья оконной решетки залетали скрученные, хрусткие листья платана), он сидел вялый, со слипающимися глазами, нарочито устало цедил слова и скреб пах пальцами в желтой перчатке:

– Ну ты-то сам-то рассуди, Преподобный, ведь ничего же не добьешься, что будешь молчать, как дохлая камбала. – Он помедлил, но я опять ничего не сказал. – Разве что, может... – слегка запнулся он, – разве что, может, кроме кучи страданий. Твоих и того, второго, ниггера.

Я хранил молчание. За день до этого, когда меня гнали пешком из Кроскизов, по дороге попались две женщины, старые ведьмы в шляпах от солнца, так они булавками искололи мне всю спину, раз десять ткнули, может, больше, причем подбивали их на это мужчины: потом ранки на лопатках стали чесаться дико, нестерпимо, меня корежило так, что на глаза наворачивались слезы, но из-за наручников я ничего не мог поделать. Я думал, если снять наручники да почесаться, я бы обрел ясность мыслей, избавился бы от великой муки, и в какой-то миг я был готов сдаться Грею, пойдя он на эту единственную уступку, но тем не менее я удержал рот на замке, не сказал ни слова. И сразу понял, что вел себя мудро.

– Знаешь, что я разумею под кучей страданий? – продолжал он терпеливо, нарочито по-доброму, словно я вполне разумный собеседник, а не избитый, продранный мешок. Снаружи доносился кавалерийский топот и бряцанье, вдалеке глухо гомонили сотни голосов: я под стражей, это только что подтвердилось, и по Иерусалиму громом прокатилась истерия. – А разумею я под кучей страданий вот что, Нат. Два пункта. Вот слушай. Это, во-первых: *затя-а-агивание* тех страданий, что ты уже претерпеваешь. Взять, к примеру, ненужный железный хлам, которым увешал тебя шериф, – все эти цепи, хомут на шее, эти счетверенные ножные с ручными кандалы и чугунный шар, что подвесили к твоей лодыжке. Боже ты мой Всемогуший, похоже, они решили, что ты Самсон собственной персоной – рванешься и снесешь всю эту хибару. Полнейшая чепуховина, как я это называю. В такой оснастке человек помрет, сидя в собственном, г-хм, навозе, причем, понимаешь ли, задолго до того, как ему соберутся наконец растянуть выю.

Наклонившись, он приблизился ко мне; выступивший у него на лбу пот казался маленькими белесыми волдыриками. Вопреки его нарочитой расслабленности я не мог не почувствовать, что от него за версту шибает служебным рвением.

– Вот такие вот вещи я и называю, как я говорил уже, *затя-а-агиванием* страданий, которые ты уже терпишь. Теперь дальше. Из двух пунктов пункт следующий, второй, стало быть. А именно промульгация, то бишь распространение,

умножение страданий сверх и превыше, и в *добавление* к тем, что ты уже испытал...

– Извините... – впервые я заговорил, и он сразу осекся. Конечно же, он вплотную подошел к тому, что, если я не расскажу ему все, как было, он до меня доберется, учинив какое-нибудь подлое зверство над Харком. Но он грубейшим образом просчитался. С одной стороны, он неверно истолковал мое молчание, с другой – нечаянно угадал самую мою неотступную, мучительную нужду – почесать спину. Если меня, паче чаяния, все равно должны повесить, что толку не давать показаний, тем более что, «признавшись», я смогу хотя бы чуточку облегчить физические муки. Я почувствовал, что одержал маленькую личную победу. Расколись я с самого начала, пришлось бы самому просить о поблажках, и получил бы я их или нет – кто знает. А молчанием я подвел его к мысли, что мелкие поблажки – единственное, чем он может понудить меня заговорить. Какова будет природа этих поблажек, он теперь уже сам высказал, и каждый из нас сделал свой первый шаг к тому, чтобы снять с меня сбрую из чугуна и меди. В этом никакого сомнения. Белых частенько подводит такое вот недержание речи, и только Бог знает, сколько негритянских побед одержано посредством упрямого молчания.

– Извините, – вновь начал я. И сообщил, что он может более не утруждать себя. Надо было видеть, как его лицо вспыхнуло, округлились от удивления и вылезли из орбит

глаза, в которых, впрочем, я заметил и некий промельк разочарования, как будто моя столь быстрая капитуляция испортила ему возможность всласть поупражняться в построениях из уговоров, улещиваний и шантажа, которые он прилежно возводил, надоев мне своим витийством. А я вдруг возьми да и рубани сплеча – хочу, мол, сделать чистосердечное признание.

– Да ну? – изумился он. – Ты хочешь сказать, что...

– Помимо меня, Харк один остался. Говорят, у него тяжелые раны. Мы с ним росли вместе. Я не хочу, чтобы его мучили. Вы должны понять, сэр. Но это еще не...

– Вот и чудненько, – перебил меня Грей, – вот это правильное решение, Нат, умное! Я знал, что рано или поздно ты к этому придешь.

– Еще кое-что, мистер Грей, – заговорил я медленно, взвешивая каждое слово. – Вчера вечером, когда меня еще только-только перевели сюда из Кроскизов, сижу это я в темноте – цепи на мне все эти... – и пытаюсь уснуть. Уснуть все не получалось, и мне вроде как явился в видении Господь. Сначала я не понимал, что это Господь, потому что давно уже думал, будто Господь оставил меня, что он меня бросил. Но потом я так сижу со своими цепями – в ошейнике железном, в кандалах и наручниках, вьевшихся в запястья, – сижу, и такая боль, безнадежность такая, как подумаешь, что мне уготовано, – нет, ну правда, мистер Грей, клянусь, это был Господь, он приходил ко мне в видении. И вот что Господь

мне сказал. Господь сказал мне: *Дай показания, признайся без утайки, в назидание народам. Поведай, чтобы знал всякий сын человеческий о деяниях твоих.* – Я смолк, вглядываясь в Грея, залитого пыльным, нечистым осенним светом. На краткий миг я смутился, подумал, он почувствует фальшь, но Грей наживку заглотал и весь стал внимание: я еще закончить не успел, а он уже лез в карман за бумагой, раскладывал на коленях ларец с письменными принадлежностями, озабоченно суетился, словно игрок, боящийся, что не успеет отыгаться.

– Когда Господь сказал мне таковы слова, – продолжил я, – я сразу, мистер Грей, сразу понял, что другого пути нет. Нет-нет, сэр, я уж устал от этого всего, и я готов рассказать все как есть, потому что Нату было видение, Господь дал нашему ниггеру знак!

Гусиное перо наготове, бумага разглажена и уложена на крышку писчего ларца, и Грей уже что-то вовсю выцарапывает на скрижалях своего ремесла.

– Так что, ты говоришь, Господь сказал тебе, Нат? Признайся во грехах твоих, которые – что?

– Нет, сэр, не «признайся во грехах», – отвечал я. – Он сказал «признайся без утайки». Просто «признайся без утайки». Это важно отметить. Никаких *грехов твоих* вовсе не было. *Признайся без утайки, в назидание народам...*

– *Признайся без утайки, в назидание народам,* – пробубнил он себе под нос, скрипя пером по бумаге. – Ну дальше. –

И быстрый взгляд на меня.

– Дальше Господь сказал так: *Поведай, чтобы знал всякий сын человеческий о деяниях твоих.*

Грей замер с пером в воздухе: лоб потный, а на лице такое удовольствие, такое ликование, что я уже готов был увидеть слезы у него на глазах. Медленно он опустил на ларец руку с пером.

– Не могу выразить тебе, Нат, – сказал он проникновенно, – нет, правда, не могу выразить, до чего чудное, замечательное решение ты принял. Выбор чести – я бы так это называл.

– Не пойму, сэръ, в чем тут честь? – удивился я.

– В покаянии, а как же.

– Сие есть повеление Господне, – ответил я. – Кроме того, мне ведь нечего больше скрывать. Что я потеряю, если все расскажу? – Секунду я поколебался. Желание почесать спину приводило меня на грань тихого, мелкотравчатого помещательства. – Но я чувствую, что смогу вам рассказать куда больше, мистер Грей, если вы добьетесь, чтобы с меня сняли эти вот наручники. У меня ужасно чешется между лопатками.

– Думаю, это можно без особых трудов устроить, – сказал он дружелюбно. – Как я довольно пространно объяснял уже, суд уполномочил меня способствовать – в разумных пределах – облегчению любых подобного рода необоснованных страданий при условии, что и ты станешь сотрудничать на-

столько усердно, чтобы упомянутое облегчение страданий стало – г-хм – взаимно полезным. И я рад – на самом деле, можно сказать, я даже *вне себя* от радости, – что ты находишь такое сотрудничество желательным. – Он весь подался вперед, ко мне, так что нас обоих накрыло ароматами весны и цветения. – Стало быть, Господь сказал тебе: *Поведай, чтобы знал всякий сын человеческий?* Проповедник, я думаю, ты даже не представляешь, сколько божественной справедливости заключено в этой фразе. Скоро уж два с половиной месяца, как все только одного и хотят – *знать*, и не только в Виргинии и сопредельных ей штатах, но по всей Америке. Десять недель, пока ты бегал в лесах по всему округу Саутгемптон и прятался, словно лис, народ Америки жаждал знать, как ухитрился ты натворить столько бед. По всей Америке – на Севере тоже, не только на Юге – люди спрашивают себя: как сумели черномазые так организовать, чтобы измыслить, да и чего уж там – осуществить, довести до конца такой план? И никто не может людям ответить, истина от них сокрыта. Все бродят впотьмах. А другие черномазые сами не знают. То ли не знают, то ли не умеют рассказать. Болваны пустоголовые! Болваны! *Болваны!* Ничего сказать не могут – даже тот, второй, еще не повешенный. Тот, у которого кличка Харк. – Он помолчал. – Кстати, давно хотел спросить: что это за имя такое?

– Наверное, родители его называли Херкюлес, – отозвался я. – Думаю, Харк это сокращение. Но я не уверен. Никто не

знает. Его всегда так называли.

– Вот, даже он. А ведь поумней, чем большинство других будет. Но уж упряма! Более упертого нигера я в жизни не видывал. – Грей склонился ко мне еще ближе. – Даже он молчит. Получил в заплечье заряд дробы, от которого бык загнулся бы! Мы подлечили его... Скажу тебе честно, Нат, честно и откровенно. Мы надеялись, он скажет, где ты прячешься. Ну подлечили его, стало быть. Но его ничем не проймешь, это надо отдать ему должное. Даже тут, в тюрьме, задашь ему вопрос, а он сидит себе, зубами цыплячьи кости хрумкает и только скалится в ответ да хохочет, ухаёт, как филин какой. А из других негров ни один ничего и не знал толком. – Грей снова выпрямился, помолчал, вытер пот со лба, а я сидел и слушал шумы и голоса людей снаружи: вот что-то крикнул мальчишка, вот кто-то свистнул, вдруг простучали копыта, а фоном всему этому – многоголосый гомон, вздымающийся и опадающий, как отдаленный прибой. – Нет, дудки, – заключил он медленнее и тише, – Нат, только Нат – ключ ко всему этому кошмару. – Он снова помолчал, потом сказал тихо, почти шепотом: – Ты-то понимаешь, Проповедник, что один ты – ключ ко всему?

Я смотрел, как за окном падают скрученные золотистые листья платана. От неподвижности, в которой я просидел много часов, у меня перед глазами замерцали какие-то фигуры и тени, словно я мало-помалу, исподволь начинаю бредить. Они уже путались у меня в сознании с падающими ли-

ствиями. На вопрос я не ответил, только сказал в конце концов:

– Так, говорите, над остальными тоже суд был?

– Суд? – переспросил он. – Суды, ты хочешь сказать. У нас тут их было до чертовой матери. Чуть не каждый день новый суд. И в сентябре, и потом, прошлый месяц у нас суды эти из ушей лезли.

– Да ну? Стало быть, вы... – В сознании молнией вспыхнула картина, как меня за день до этого гнали к Иерусалиму по дороге из Кроскизов: чьи-то сапоги, пинающие в зад и в спину, жалящие уколы булавок в лопатки, вокруг чьи-то расплывчатые яростные лица, лезущая в глаза пыль и плевки, виснувшие на носу, на щеках, на шее (даже и теперь я чувствую их у себя на лице вроде чудовищной коросты, высохшей и накрепко приставшей), а над всем этим поверх угрожающего гомона толпы неизвестно чей одинокий крик – тонкий, истерический: «Сжечь его! Сжечь! Сжечь! Сжечь черномазого черта прямо здесь!» И во весь шестичасовой полюбморочный путь моя собственная вялая надежда, странно смешанная с недоумением: хоть бы они поскорей со своим делом покончили – сожгли бы меня, повесили, выкололи глаза, что там еще они собираются со мной сделать, – почему бы им не исполнить это сейчас? Но они так ничего и не сделали. Оплевывание длилось бесконечно, кислый привкус слюны меня теперь преследует. Однако, кроме этого, кроме пинков и булавочных уколов, мне никакого зла не причини-

ли – удивительно! – и даже когда заковали в цепи и бросили в камеру, я думал: нет, Господь готовит мне какое-то особое спасение. А может, наоборот, мне измышляют особо изощренную кару, которую я не в силах себе даже представить. Что же до остальных – других негров и судов над *ними*, – внезапно при взгляде на Грея мне это стало более или менее ясно: – ...Вы, стало быть, отделяли зерна от плевел, – догадался я.

– Как говорят французы, *exactement*¹. Ты совершенно прав. Можно также сказать, защищали права собственности.

– Права собственности? – Я несколько опешил.

– А что, это тоже важно, – усмехнулся он. – Еще бы. Преследовались обе, можно сказать, равнодостоинные цели. – Покопавшись в кармане жилета, он вытащил оттуда свежий темно-коричневый ломоть прессованного табака, пощупал его, помял в пальцах и отгрыз от него кусок, который сунул за щеку. – Предложил бы и тебе, – спустя секунду спохватился Грей, – только ведь я так понимаю, что человек твоего звания вряд ли позарится на девку по имени Никотин. И это очень правильно, не то язык сгниет и отвалится. Знаешь, я тебе расскажу кое-что, Нат, и это кое-что состоит в следующем. В качестве адвоката – и, между прочим, *твоего адвоката* в какой-то мере, – я должен указать на некоторые юридические тонкости, которые тебе было бы весьма полезно зарубить у себя на носу. По сути, тут всего два пункта, и

¹ Точно (*фр.*).

первый насчет имущества. А именно – права собственности.

В изумлении я молча на него уставился.

– Позволь, я обойдусь без экивоков. Возьмем собаку, которая есть движимое имущество. Нет, сперва возьмем телегу: хочу выстроить уподобление логично, шаг за шагом. А теперь представим себе фермера, владельца телеги, обыкновенной грузовой подводы; он взял да и поехал на ней куда-нибудь в поля. Далее: этот фермер нагрузил телегу кукурузными початками, или сеном, или хворостом, или еще чем-нибудь и оставил на дороге, которая идет под уклон. А телега старая такая, раздолбанная, и вдруг у ней тормоз возьми да и сломайся. Глядь, старая телега уже несется под горку вниз, вот через канаву перескочила, и не успеешь «мама» сказать, она – *ба-бах!* – влетает на крыльцо чужого дома, а там девочка сидела себе тихо-мирно, никого не трогала, а телега – *хрясь!* – и уже тут как тут. Несчастный ребенок гибнет под колесами на глазах убитой горем мамыши. Между прочим, не так давно произошел в точности такой случай – где-то в окрестностях Динвиди. Ну, дальше *что?* – поплакали, похоронили, все в таком духе, но рано или поздно мысли непременно возвращаются к той повозке. Как так произошло? Почему? Почему бедную Кларинду задавило колесами старой телеги? Ну кто, по-твоему, отвечать должен?

Этот последний вопрос адресован мне, но я не откликаюсь. То ли от скуки мне неволею стало, то ли злоба душила или просто изнемог, а может, все сразу. В общем, я не отве-

тил, молча смотрел, как он перекачивает во рту жвачку, потом выстреливает красноватой струей табачного сока в пол под ноги.

– Ладно, объясняю, – не дождавшись, продолжил он. – Скажу, на ком вина будет. Вина целиком и полностью ляжет на того фермера. Потому что телега – имущество *не-о-душев-лен-но-е*. На телегу за содеянное ею нельзя возложить ответственность. Нельзя эту старую повозку наказать – наброситься, разломать в куски и, кинув в огонь, сказать: «Вот, это будет тебе уроком, окаянная деревяшка!» Нет, вину возложат на непутевого ее владельца. Это *с него* за все спросится, это *ему* придется возмещать убытки в размере, который определят в судебном порядке, – и за разрушенное крыльцо, и за похороны погибшего ребенка, плюс, возможно, еще и какие-нибудь штрафные санкции суд на него наложит. А уж после этого – иди, раздолбай несчастный, чини на своей телеге тормоз, если у тебя какие деньги еще остались, и следи за своим имуществом – попенял на себя, впредь, может, поумнеешь! Да ты слушаешь меня?

– Да, – отозвался я, – это понятно.

– Ну вот, подошли наконец к сути дела. Рассмотрим *одушевленное* имущество. Когда речь заходит о взыскании по суду компенсации за причиненный вред в виде утраты жизни или собственности, одушевленное имущество ставит перед нами особенно запутанные и тонкие правовые проблемы. Не нужно пояснять, что эти проблемы становятся *предельно* за-

путанными и тонкими, когда возникает казус, подобный тому, который мы имеем в результате действий твоих и твоей шайки, чьим преступлениям нет прецедентов в анналах всей страны, причем судебный розыск, в силу вышеупомянутого обстоятельства, приходится чинить в атмосфере, я бы сказал, жгучего общественного внимания – это по меньшей мере. Что ты там все ерзаешь?

– Спины, – отозвался я. – Я был бы вам ужасно благодарен, если б вы велели им снять с меня цепи. Лопатки жжет – это жуткое что-то.

– Я же сказал тебе: приму меры. – В его голосе промелькнуло раздражение. – Преподобный, ты имеешь дело с человеком слова. Но вернемся к юриспруденции. Между одушевленным имуществом и телегой есть элементы как сходства, так и различия. Главное и очевидное *сходство* – это, конечно, то, что одушевленное имущество есть такая же, как и телега, частная собственность, а посему как таковая и пребывает в глазах закона. Подобным же образом... Я не чересчур сложно изъясняюсь?

– Нет, сэр.

– Подобным же образом главное и очевидное различие – то, что одушевленное имущество в отличие от неодушевленного, такого, как телега, *способно* совершить преступное деяние и может за него подвергнуться уголовному преследованию, тогда как его владелец, наоборот, упомянутому преследованию по закону не подлежит. Не знаю, может, тебе в

этом почувдится некое противоречие, нет?

– Что почувдится?

– Противоречие. – Он помедлил. – Наверное, не знаешь, что это.

– Да, да. – На самом деле я просто не расслышал слово.

– Противоречие – это когда две разные вещи в то же самое время влекут одни и те же последствия. Видимо, не стоило мне лезть в такие дебри.

Я вновь ничего не ответил. Уже само звучание его голоса, который от табачной жвачки за щекой стал глуше, сделался каким-то слюнявым и шлепогубым, начинало действовать мне на нервы.

– Ладно, плюнем на это, – продолжал он. – Не собираюсь я тебе все объяснять. Подробности услышишь в суде. Смысл в том, что ты как раз *одушевленное* имущество и в качестве такового способен ко лжи, коварству и воровству. Ты не телега, Преподобный, ты имущество, которое наделено свободой воли и возможностью нравственного выбора. Запомни это хорошенько. Именно поэтому закон предписывает, чтобы одушевленное имущество вроде тебя за преступления судили, и именно поэтому в следующую субботу над тобой состоится суд.

Он помолчал, потом тихим голосом равнодушно закончил:

– После чего тебя ждет казнь через повешение за шею.

Через миг, как будто временно иссякнув, Грей глубоко

вздохнул и отстранился, расслабленно откинувшись спиной к стене. Он шумно дышал и сочно чавкал жвачкой, дружелюбно глядя на меня из-под тяжелых, набрякших век. В тот момент я впервые заметил на его красном лице обесцвеченные пятна – желтоватые, не очень заметные, точно такие же, как я когда-то видел у одного сильно пьющего белого в Кроскизах; тот вскоре умер, оттого что его распухшая печенька стала как средних размеров арбуз. Я подумал, уж не страдает ли мой странный адвокат тем же недугом. В камере полно было жирных осенних мух; тихо жужжа, они простегивали воздух беспорядочными зигзагами, иногда вспыхивая золотистым светом, заинтересованно кружили над парашей, нервно ползали по засаленным желтым перчаткам адвоката, по его жилету, по рукам, лежащим неподвижно у него на коленях. Я смотрел, как перед глазами колышутся и мерцают фигуры и тени, путаясь в сознании с падающими листьями платанов. Желание почесаться, поскрести лопатки превратилось во что-то вроде безнадежного плотского вожделения, во всепоглощающую страстную алчбу, так что последние слова Грея оставили в моем сознании впечатление слабенькое, неясное и бесформенное – этакий всегдашний абсурд, свойственный всякому измышлению белых на всем протяжении моей жизни и сравнимый разве что с той несуразицей, что привиделась мне когда-то в кошмарном сне, совершенно неправдоподобном, но исполненном пугающей реальности: там филин в лесу зачитывал перечень цен,

как заправский лавочник, а дикий кабанчик, приплясывая на задних ножках, выходил на край кукурузного поля и нараспев читал из Второзакония. Я неотрывно смотрел на Грея и думал о том, что он не лучше и не хуже других белых – язык длинный и без костей, как у них у всех, – и у меня в мозгу знаменем развернулись строки Писания: *Отверз легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова; кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою.* В конце концов я сказал:

– Отделяли, значит, зерна от плевел.

– Или, если перевернуть предложение, отделяли плевелы от зерен, – тут же откликнулся он. – Но в принципе ты совершенно прав, Нат. Смысл вот в чем: некоторые из твоих негров были вроде тебя – замазаны этой катавасией по самые уши, грязнее грязи, и виновны так, что не найти им было никакого снисхождения. Целый ряд других, однако, – и я думаю, не обязательно сейчас тебе этот грустный факт доказывать, – были либо по молодости и простодушью, либо просто силком втянуты в твой безумный заговор и *препятствовали* ему всеми правдами и неправдами. Так вот, как раз владельцев *этих* негров суды и призваны были защитить...

Он говорил и говорил, вынул еще какой-то лист бумаги из кармана, но я уже не вникал, слушал лишь, как заныла в сердце нота печали, едкой горечи, ничего общего не имеющая ни с тюрьмой, ни с цепями, ни со сводящим с ума зудом, ни с загадочной, сиротливой богооставленностью, кото-

рая не переставала мучить меня почти непереносимо. В тот момент мне главное было перебороть *эту* боль, *эту* горькую мысль, которую десять недель я упорно не допускал до себя, загоняя на самые дальние задворки сознания, а Грей невзначай вдруг взял да и выволок на свет Божий во всей ее наготе и неприглядных корчах: *другие негры... силком втянуты... препятствовали*. Наверное, у меня вырвался какой-то стон, горестный звук, сдавленный и застрявший костью в горле, или Грей просто угадал мою новую муку, поскольку он, снова сощурившись, глянул на меня и говорит:

– Вот *те другие негры* и закопали тебя, Проповедник. Вот где была твоя фатальная ошибка. *Те другие*. Ты и понятия не имел, что у них на уме.

Казалось, он сейчас продолжит, раскроет и разовьет свою мысль, но нет, он разложил бумагу на скамье и, склонившись над ней, поглаживая и расправляя, заговорил в своей обычной равнодушно-непринужденной манере:

– Так что вот. Из этого перечня ты получишь некоторое представление о том, как немного плевел было в добром мешке зерна. Вот слушай: Джек, собственность Натаниэля Симмонса, оправдан. – Он искоса взглянул на меня, этак вопросительно, но я никак не отозвался. – Стивен, – читал он дальше, – собственность Джеймса Белла, оправдан. Шадрач, собственность Натаниэля Симмонса, оправдан. Джим, собственность Уильяма Вогана, оправдан. Дэниэл, собственность Соломона Д. Паркера, отпущен без суда.

Ферри и Ачер, собственность Дж. У. Паркера, то же самое. Арнольд и Артист, свободные негры, тоже. Мэт, собственность Томаса Ридли, оправдан. Джим, собственность Ричарда Портера, туда же. Нельсон, собственность Бенджамина Бланта, туда же. Сэм, собственность Дж. У. Паркера, то же самое. Хаббард, собственность Кэтрин Уайтхед, отпущен без суда... Черт, я мог бы продолжать и продолжать, но я не буду. – Он вновь уставился на меня с умудренным и значительным видом. – Если уж этого недостаточно, чтобы доказать, что суды были с начала и до конца честными и непредвзятыми, хотел бы я знать, что еще нужно.

– Единственное, в чем это убеждает меня, – поколебавшись, отвечал я, – всего лишь во внимании и заботе. О праве собственности. Да вы и сами недвусмысленно на это намекали.

– Нет-нет, погоди-ка, Преподобный, – беспокоился он. – Минуточку! Ты, это, не очень-то наглей тут у меня. Я продолжаю утверждать, что мы провели серию справедливых судебных разбирательств, и не хочу выслушивать твоих инсинуаций в пользу противного. Сейчас ты у меня пошлепаешь своими черными губищами – гляди, как бы не меньше, а еще больше тебе железа таскать не пришлось.

Мысль об ужесточении режима мне не понравилась, я сразу пожалел, что разговорился. Впервые Грей проявил ко мне враждебность, и это оказалось ему не очень к лицу: нижняя губа у него отвисла, из уголка рта побежала струйка корич-

невого сока. Почти тотчас, впрочем, он совладал с собой, вытер рот, и его тон вновь стал спокойным, непринужденным, чуть не приятельским. Откуда-то снаружи, из-за дальних, уже ставших прозрачными ноябрьских деревьев, до меня долетел истошный вопль какой-то женщины, которая долго выкрикивала что-то неразборчиво-ликующее, из чего я сумел разобрать только одно – свое имя: *Ha-am*; этот единственный слог, бесконечно растянутый, будто рев мула, несся над гомоном, гвалтом и приливающими наплывами множества голосов.

– Шестьдесят с лишним подозреваемых, – бубнил свое Грей. – Из этих шестидесяти десятка три оправданы или отпущены вообще без суда, человек пятнадцать или около того приговорены, но всего лишь к высылке. И только пятнадцать к повешению – плюс ты да тот, второй, ниггер, Харк, вас приговорят еще – итого семнадцать. Другими словами, вся эта кровавая каша привела на виселицу только четверть ее участников. Аболиционисты, эти сладкоречивые лицемеры, говорят, у нас нет правосудия. Еще как есть! Правосудие. С его-то помощью рабовладение и будет стоять тысячу лет.

Грей стал копаться в своих документах и списках. А я и говорю:

– Мистер Грей, сэр, я понимаю, я не в том положении, чтобы просить о побрячках. Но я боюсь, что мне потребуется какое-то время, чтобы собраться с мыслями для чистосердечного признания. Не будете ли вы так добры, я бы хотел

немножечко побыть один. Мне надо время, сэр, собраться с мыслями. Кое-какие вещи уладить с Господом.

– Ну отчего ж, конечно, Нат, – ответил он. – Времени у нас сколько влезет. Мне, кстати говоря, тоже перерывчик не помешает. И знаешь зачем? Повидаю-ка я мистера Тревезанта, прокурора штата, насчет всех этих кандалов и цепей, которые на тебя навесили. Потом я вернусь, и мы приступим к работе. Тебе как – получаса, трех четвертей часа хватит?

– Я весьма вам признателен. Да, еще кое-что, мистер Грей. Не хочу показаться настырным, но со вчерашнего вечера я ужас как проголодался. Быть может, вы замолвите словечко, чтобы мне дали хоть какой-нибудь еды. Я бы лучше справился с этим признанием, если бы мне сперва дали чуточку чего-нибудь пожевать.

Он встал, постучал по решетке, вызывая тюремщика, потом обернулся ко мне и сказал:

– Смотри, Преподобный, это ведь ты сказал, твое было слово. А поесть тебе дадут, не сомневайся. Не может человек дать настоящего признания без бутерброда с беконом в брюхе.

Когда он ушел и дверь меня опять от всех отъединила, я неподвижно сел среди своих цепей. Солнце на пути к закату стало как раз против окна, и камера наполнилась светом. Мухи жужжали, носились от стены к стене путаными упругими петлями, садились мне на лоб, щеки и губы. В лучах света вниз и вверх сновали мириады пылинок, и я подумал:

интересно, эти частички, которые кажутся глазу такими весомыми и большими, не мешают ли они в полете мухам? А может быть, думал я, для мух пылинки что-то вроде осенних листьев и препятствуют им не больше, чем палая листва человеку, когда он гуляет в октябрьском лесу, а внезапный порыв ветра срывает с тополя или платана и взметывает вокруг него неистовым, но безвредным вихрем рыжие и золотые листья. Надолго задумавшись, я размышлял о превратностях жизни мухи и почти не слушал доносящийся снаружи рев, который то накатывал, то утихал, как летний гром, близкий и угрожающий, но при этом далекий-далекий. Во многих отношениях, думал я, муха, наверное, из самых счастливых тварей Божьих. Рожденная безмозглой, она бездумно обращается за пропитанием ко всему влажному и теплomu, находит себе безмозглую пару, размножается и, все такая же безмозглая, умирает, не познав ни невзгод, ни горестей. Но затем я спросил себя: так ли уж я в этом уверен? Кто знает, а может, мухи, наоборот, самые отверженные Божьи твари, вечно жужжащие меж небом и забвением в вечной агонии бессмысленной, конвульсивной дерготни, понуждаемые инстинктом жрать всякий пот, слизь, отбросы, а в их безмозглости как раз и кроется непрерывная мука? Так что, если кто-то, пускай из лучших, но ошибочных побуждений возжелает бегства из человеческой юдоли скорби в мушиный мир, он обнаружит себя в куда как более чудовищном аду, нежели ему представлялось: он получит существование, которое не

знает свободы воли, выбора, а только лишь слепое повиновение инстинктам, заставляющим ненасытно и отвратительно поедать хоть кишки разлагающейся лисы, хоть содержимое тюремной параши. Конечно же, такое было бы проклятием запредельным: существовать в мушином мире, пиршествуя на гноище, причем безо всякой радости и совершенно вопреки желанию.

Помню, один из моих прежних владельцев, мистер Томас Мур, сказал однажды, что негры не совершают самоубийств. Я даже в точности припоминаю, как это было сказано: осень, время колоть свиней, жуткий холод (а может, теперь мне так кажется из-за наложения мыслей о смерти на тот холодный сезон смертей), морщинистое, рябое лицо Мура, на холоде покрасневшее от долгой работы над окровавленной тушей, и его собственные слова, при мне сказанные двум соседям: «Это кто же слышал такое, чтобы ниггер убил себя? Нет, я вам так скажу: черномазый, может, когда и захочет себя укокошить, но как почнет думать об этом, как примется думать, думать и думать – глядь, а он, болезный, и спит уже. Верно, Нат?» Хохот соседей, да и мой собственный – ожидаемый, почти обязательный, и повторение вопроса: «Нет, ну ты скажи, верно, Нат?» – уже с некоторым нажимом, и мой ответ с приличествующим случаю смешком: «Да, маса Том, сэр, что верно, то верно, ясное дело». И, по правде говоря, стоило мне поглубже вдуматься, как пришлось признать, что никогда я не слышал о негре, который бы убил себя. В стремлении

сей факт осмыслить я склонялся (причем чем больше изучал Библию и учения пророков, тем более склонялся) к тому, что понимание праведности, присущей страданию, готовность к терпению и выдержке перед лицом вечной жизни, то есть, собственно, христианская вера – вот что отвращает негра от этой пагубы. *Людей угнетенных Ты спасаешь, ... ибо Ты, Господи, светильник мой; Господь просвещает тьму мою.* Однако теперь, сидя в солнечном луче, где вздрагивают тени падающих листьев, слушая неумолчное гудение мух, я уже не могу сказать, что ощущаю это как непреложную истину. Скорее кажется, что мои черные соплеменники, эти засранцы и говноеды, и впрямь подобны мухам, безмозглым париям Господним, не имеющим воли даже на то, чтобы своею собственной рукой прекратить нескончаемую муку...

Долго я так сидел в лучах солнца, не двигаясь, ждал, когда возвратится Грей. Интересно, сумеет ли он заставить их принести мне поесть после того, как с меня снимут цепи и наручники. Еще я думал о том, как бы мне убедить его принести Библию, по которой где-то там, в глубине своего существования, я уже затосковал нестерпимо. Ропот толпы я не впускал в сознание, и в тишине вокруг меня жужжали мухи, пели энергичную торжественную песнь, будто песнь самой вечности. Через какое-то время я попробовал молиться, но опять тщетно. И ничего я не чувствовал, кроме отчаяния, да такого тошнотного, что испугался, как бы не сойти с ума; хотя нет, *это* отчаяние – оно каким-то образом лежало глубже

безумия.

И вот опять первое утро, новое первое утро; рассвело, и когда бледный холодный свет стал наполнять камеру, Грей задул фонарь.

– Эк ведь похолодало-то! – пожившись, сказал он и застегнул сюртук. – В общем, так... – он помедлил, вглядываясь в мое лицо. – Значит, сегодня, когда суд кончится, я первым делом постараюсь затребовать для тебя зимнюю одежду. Неправильно, чтоб человек, сидя в такой вот будке, мерз как цуцик. Раньше я как-то не обращал на это внимания – одежда там, то, се, – потому что до сегодняшнего дня тепло стояло. Но то, что на тебе надето – или что от всего этого осталось, – это ж ведь летнее старое тряпье. Что это было? Рядно какое-то? Мешковина? Жалкие, жалкие тряпки, да по такой погоде! Так, теперь насчет твоего признания, Нат. Все, что имеет значение, я переписал, всю ночь, черт возьми, просидел. Н-да, как намекал я и раньше, боюсь, это признание только послужит обвинению лишней уликой, и противопоставить ему будет нечего. По всей видимости, я или мистер У. Ч. Паркер – это твой адвокат защиты – встанем и сделаем какое-то формальное заявление, но в сложившихся обстоятельствах оно вряд ли может быть чем-то иным, нежели просьбой к суду внимательно ознакомиться с материалами, находящимися в его распоряжении, – в данном случае с твоим добровольным, полным и чистосердечным признанием.

Теперь, как я объяснял уже, прежде чем ты сегодня мне его подпишешь, я хочу зачитать его тебе, чтобы...

– То есть как мистер Паркер, – вклинился я. – Значит, не вы мой адвокат?

– Ну конечно, нет. Но все равно ж мы с ним коллеги и, что называется, напарники.

– А я его даже и в глаза не видел? И вы об этом мне сообщаете только сегодня? – Я даже задохнулся. – И все, что вы записываете, – это *для обвинения!*

По его лицу пробежала гримаса нетерпения, помешавшая ему от души зевнуть.

– Ий-ых! Обвинитель тоже мой коллега и напарник. Какая разница, Преподобный? Обвинение, защита – все это ни на йоту не меняет дела. Мне казалось, я растолковал тебе совершенно отчетливо – что я, так сказать, делегирован, что ли, судом, уполномочен им получить от тебя признание. Вот я наконец это и сделал. Но твоего-то гуся не я жарил! – Он внимательно глянул на меня, потом заговорил добродушным, увещающим тоном: – Ладно тебе, Проповедник. Давай глядеть на вещи реально. Ну, то есть называть своими именами. – Он замаялся. – В том смысле... Ч-черт, ну ты знаешь, в каком смысле.

– Да, – сказал я. – Я знаю, что меня повесят.

– Ну а если это решено априори, какой же смысл выполнять все предписанные поклоны и приседания, как ты считаешь?

– Да, сэр, – сказал я. – Думаю, смысла нет.

Да и впрямь! Я даже испытал своего рода облегчение от того, что логику наконец окончательно выкинули в окошко.

– Ладно, тогда, стало быть, к делу. Потому что к десяти часам мне надо это должным образом окончательно оформить. А теперь, как я говорил уже, я зачитаю вслух все целиком. Ты подпишешь, и в суде твое признание огласят как свидетельство обвинения. Но пока я все это читаю, хочется, чтобы по ходу дела ты мне растолковал, если сможешь, некоторые частности, которые я для себя как-то не уяснил еще. Так что в процессе чтения, возможно, мне придется временами прерываться, чтобы внести поправочку-другую. Готов?

Я кивнул, весь сжавшись от пронизывающего холода.

– «Сэр, вы просили дать полный отчет причинам, побудившим меня поднять мятеж, как вы это называете. Чтобы сделать это, мне нужно вернуться к дням моего детства, даже к тем дням, когда я еще не родился...» – Читая Грей начал медленно и раздумчиво, как будто наслаждаясь звучанием каждого слова, но вот уже он прервал себя, бросил на меня взгляд и сказал: – Ну ты, конечно, понимаешь, Нат, здесь не обязательно каждое слово именно то, что ты мне говорил. Признание как юридический документ должно быть выдержано в определенном стиле – таком, я бы сказал, весомом, значительном, так что здесь я скорее воссоздаю и переизлагаю то, что в несколько сыром и грубом виде высказывалось начиная с прошлого четверга, во время наших собе-

седований. Существо дела – то есть вся совокупность частностей и деталей – сохраняется или по крайней мере я надеюсь, что сохраняется. – Вернувшись к документу, он продолжал: – «Чтобы сделать это... и т. д. и т. п., ага... еще не родился». Гм. «Истекшего октября второго дня мне исполнился тридцать один год, а рожден я был в собственности Бенджамина Тернера, в этом округе. В детстве произошло событие, оставившее в моем сознании неизгладимый след и послужившее основанием тому исступлению, которое привело к гибели многих людей, белых и черных, за что мне предстоит держать ответ на виселице. В этой связи необходимо...» – Тут он снова прервался, чтобы спросить: – Ты как – следишь еще?

Я закован, тело, казалось, покинули последние силы. Все, что я смог, это поднять глаза и пробормотать:

– Да-да.

– Хорошо, тогда продолжаем: «В этой связи необходимо остановиться на упомянутом событии подробно; при всей кажущейся его незначительности оно вызвало к жизни убеждение, которое со временем укреплялось и от которого даже сейчас, сэр, в этой темнице, где я, беспомощный и никчемный, прозябаю, я не могу вполне отрешиться. Когда мне было три или четыре года от роду, я как-то раз играл с другими детьми и рассказал им о некоем происшествии, которое моя мать, краем уха услышав, отнесла ко времени, бывшем прежде моего рождения. Я, однако, на своем настаивал и

присовокупил некоторые детали и обстоятельства, каковые, по ее мнению, мой рассказ подтверждали. Призваны были третьи лица, и то, что я поведал о вещах действительных, заставило их с удивлением сказать в моем присутствии: он обязательно станет пророком, ибо Господь открыл ему вещи, которые были прежде его рождения. И мать лишь укрепила меня в этой столь рано подсказанной мне надежде, настойчиво заявляя, что мне предуготовано великое служение...»

– Он вновь запнулся. – Все правильно пока?

– Да, – сказал я. И впрямь, во всяком случае по существу дела, как он выразился, то есть в главном то, что я ему рассказывал, похоже, искажено не было. – Да, – повторил я, – все правильно.

– Ну хорошо, продолжим. Я рад, что ты оценил, насколько честно я отнесся к твоему повествованию, Нат. «И мать, с которой я был очень тесно связан, и хозяин (человек воцерковленный), и другие религиозные люди (как те, кто посещал усадьбу, так и те, кого я постоянно видел на молитве), отмечая своеобразие моего поведения и, по-видимому, необычные в столь нежном возрасте умственные задатки, говорили, что я чересчур смышлен, чтобы меня учить и воспитывать, поскольку ученый раб никому не будет нужен...»

Он продолжал читать, а я слушал приглушенный лязг и звяканье цепей и кандалов по ту сторону стенки; потом донесся голос, тоже приглушенный, булькающий от заливающей рот мокроты, – голос Харка: «Холодно мне! Нача-аль-

ник! Ведь холодно же! Холодно! Помоги бедному ниггеру, эй, начальник! Помоги бедному замерзшему ниггеру! Начальник, принеси бедному замерзшему ниггеру чем прикрыть его кости!» Грей, нимало не смущаясь шумом, читал дальше. Харк вопил не переставая, а я медленно поднялся со скамьи, потопал ногами, чтобы не мерзли.

– Я слушаю, – сказал я Грею. – Не обращайтесь внимания, я слушаю.

Стреноженно прошаркал кандалами к окну, слушая не столько Грея, сколько Харковы стенания и вопли за стенкой; конечно, я знал, что он ранен, что в камерах холодно, но я также знал Харка: Харк явно *придурился*, а на это он мастак. Единственный негр в Виргинии, кто мог хитроумной лестью заставить белого отдать последнюю рубаху. Я стоял у окна и слушал не Грея, а Харка. Голос его стал слабым, жалостным, дрожащим от жесточайшего страдания – вот-вот, казалось, Харк испустит дух; таким голосом можно было растопить самое ледяное сердце.

– Ой-ой, кто-нибудь, помогите бедному, больному, замерзающему негру! Ой, маса начальник, ну хоть что-нибудь, ну хоть тряпочку, прикрыть ему кости! – И тут же я услышал, как за спиной у меня Грей встает и идет к двери вызывать Кухаря.

– Найди там какое-нибудь одеяло для второго негра, – приказал Грей. Потом он опять сел и принялся читать, а из-за стенки я совершенно явственно услышал, как в зати-

хающем стоне Харка прозвучало что-то вроде сдавленного смешка, этакое удовлетворенное хрюканье.

– «У меня никогда не было привычки воровать, ни в детстве, ни в юности. Правда, даже в этот ранний период моей жизни соседские негры настолько верили в превосходство моих суждений, что, замыслив какую-нибудь проказу, частенько брали меня с собой, чтобы я руководил ими. Я рос в их окружении под постоянным влиянием их веры в превосходство моих суждений, каковое, по их мнению, довершалось еще и божественным вдохновением, проявившимся в упомянутом случае из моего детства; впоследствии же их веру подкрепляла строгость моей жизни и поведения, строгость, которая стала притчей во языцех среди белых и негров. Скоро осознав свое величие, я должен был ему соответствовать, поэтому тщательно избегал неподобающего общения и, окутавшись тайной, посвящал все время молитве и посту...»

Грей продолжал бубнить. Я его давно уже не слушал. Пошел снег. Мельчайшие, неземной хрупкости снежинки летели мимо, как июньский пух, и, коснувшись земли, мгновенно таяли. Задувал ледяной ветер. Над рекой и заливным лугом за ней нависла непроницаемая серая туча, заслонила собой все небо, с ее брюха лохмотьями разодранных покровов свисали почти черные полосы тумана. Иерусалим бурлил. Еще четверо кавалеристов легким галопом промчались по кипарисовому мосту, грохнув над городом громкою дробью

копыт. Поодиночке, парами, группками – мужчины, женщины – закутанный по случаю холода народ торопливо стекает к зданию суда. Дорога в затвердевших на морозе колдобинах, люди спотыкаются, что-то бормочут, звук шагов твердый, хрусткий. Сначала я удивился: вроде рановато собираются, но тут же до меня дошло – не хотят остаться без места, не хотят сегодня ничего упустить. Я оглядел пространство за неширокой ленивой рекой: сперва на добрую милю тянется заливной луг, потом ровные поля и, наконец, стена общественного леса. Самый сезон сейчас по дрова отправляться... – тут мысли разбежались, и, погрузившись в полудрему, я словно перенесся через все холодные просторы в густую чащу бука и орешника, где уже в этот зябкий ранний час парабов, должно быть, вовсю орудует топором и клином; я будто слышу сочные удары топора, музыкальное звяканье клина и вижу в морозном воздухе пар, выдыхаемый неграми; а вот их пикировка за работой – гулкие голоса, по простодушию привыкшие всегда орать так, что слышно за милю: «А старая хозяйка-то – прикинь! – все ищет ту жирненькую индюшку – ты понял?» А другой: «А я чего? Чего я-то? Чего на меня-то вылупился – да?» И опять первый: «А на кого ишшо-то лупиться? Старая хозяйка – она те башку-то вылупит! Кудряшки-то повыдергива-ат на черной на твоей башке, прикинь!» Затем, довольные, оба по-детски беззаботно во всю глотку хохочут, смех в утренней тиши эхом отдается от темной стены леса, разносится над болотами, лощинами, лугами, и на-

стает наконец тишина, нарушаемая лишь ударами топора да звяканьем клина, да еще, может быть, граем ворон, кругами опускающихся на кукурузное поле, видеть которое мешают крапинки падающего снежка. На миг, как ни силился я сдержаться, что-то болезненно вдруг провернулось в сердце, и кратчайшей вспышкой меня ослепило воспоминание и тоска. Но лишь на миг, потому что тут же я услышал голос Грея:

– Это пункт первый, Проповедник. Тут мне не совсем понятно. Может, разъяснишь чуток?

– Насчет чего? – переспросил я, вернувшись.

– Ну вот же здесь это место, что я сейчас прочитал. Пойми, мы тут как раз выходим из стадии подготовительной работы и подбираемся к мятежу как таковому, а значит, в этой части хотелось бы особенной ясности. Я повторяю: «Намерением нашим было, чтобы жатва смерти началась четвертого июля сего года. Много было замыслов относительно...» и так далее и так далее... Ага, вот оно: «Шло время, но никак мы не могли договориться о том, как начать. Одни планы сменялись другими, но тут вновь явлено было знамение, которое заставило меня решиться и не ждать более...» и т. д. и т. д. Теперь вот здесь: «От начала 1830 года я жил у мистера Джозефа Тревиса, который был добрым хозяином и испытывал ко мне величайшее доверие; иными словами, я не имел причины жаловаться на его обращение со мной...»

Тут я заметил, что Грей, неловко поерзав, чуть приподнял одну ляжку, чтобы выпустить ветры; он попытался сделать

это прилично, исподволь, но не рассчитал, и получилась серия тихих выхлопов, словно где-то вдали подожгли фейерверк. Вдруг пришел в замешательство, засуетился, что весьма меня позабавило: чего бы ему стесняться негритянского проповедника, которому читают смертный приговор? Принялся говорить слишком громко, маскируя смущение под горячность:

– ...я жил у мистера Джозефа Тревиса, который был добрым хозяином и испытывал ко мне величайшее доверие; иными словами, я не имел причины жаловаться на его обращение со мной! Вот вопрос! Вот в чем весь вопрос-то, Преподобный! – Он воззрился на меня. – Как ты объяснишь это? Вот что хочу знать я и захочет узнать любой. Ты признаешь, что человек был добрым и хорошим, и ты же его безжалостно режешь!

От удивления у меня на пару секунд пропал дар речи. Я медленно сел. Потом удивление сменилось растерянностью, и я долго молчал, но даже после паузы сказал лишь:

– Это... На это я не могу вам ничего ответить, мистер Грей.

Я и правда не мог. Не потому, что на этот вопрос нет ответа, а потому, что есть вещи, разглашать которые не следует даже на исповеди, и, уж конечно, Грею знать о них не следовало.

– Послушай-ка, Преподобный, это ж опять ерунда получается. Если бы тебя мучили и тиранили – да. Дурно бы об-

ращались, били, не кормили, не одевали, заставляли ночевать под забором – да. Если вот таким образом – да, тогда понятно! Ну пусть хотя бы ты влачил существование вроде того, что на Британских островах или в Ирландии, где средний крестьянин экономически стоит сейчас на уровне собаки или даже ниже, – пусть хотя бы так, глядишь, люди поняли бы. Н-да. Но здесь-то даже не Миссисипи, не Арканзас! Это Виргиния в году одна тысяча восемьсот тридцать первом anno Domini², а трудился ты на богобоязненных, добродетельных хозяев. И Джозефа Тревиса, в числе прочих, ты хладнокровно зарезал! Такое... – Он поднял раскрытые ладони ко лбу жестом неподдельного недоумения. – *Такое* люди понять не смогут!

Вновь у меня подспудно, мимолетно промелькнуло ощущение бреда, разговора с персонажем сна. Я долго пристально смотрел на Грея. Пусть мало чем отличный от других, но ведь он все-таки последний белый в моей жизни (не считая того – с веревкой), и разгадать бы мне, понять, откуда они такие берутся. В результате, как бывало уже много раз, у меня появилось чувство, что я его придумал. А со своим творением беседовать – зачем? – и я еще решительнее замкнулся в молчании.

Прищурившись, Грей бросил на меня взгляд.

– Хорошо, коли не хочешь открываться в этом, перескочим к следующему пункту. А потом вернемся и перечтем все

² От Рождества Христова.

СЫЗНОВА.

Он зашелестел страницами. Понаблюдав за ним, я вновь почувствовал голодную дурноту. Далеко в центре города часы на здании суда с дребезгом уронили восемь утренних ударов – и сразу суета и движение, голоса и цокот копыт сделались явственнее и громче. Откуда-то донесся голос женщины, негритянки, пронзительный от шутливой ярости: «А вот ща-а-ас уши-то повыдергаю с корнями!» И следом девчоночий смех с повизгиваниями столь же шутивно наигранного ужаса. Потом секундное затишье, и опять цокот копыт и голоса. Чтобы унять, утихомирить боль голодных схваток, я прижал обе руки к животу, будто часового на страже его пустоты поставил.

– Вот здесь, – гнул свое тем временем Грей. – Послушай-ка, Преподобный. Это сразу после того, как вы покинули дом Брайантов – помнишь, ты сам тогда еще никого не убил, – и отправились к миссис Уайтхед. Цитирую: «Я вернулся, чтобы возобновить работу смерти, но мои люди и без меня даром времени не теряли: все члены семьи были уже убиты, кроме миссис Уайтхед и ее дочери Маргарет. Подходя к двери, я увидел, что Билл выволок миссис Уайтхед из дома и на крыльце чуть не начисто отсек ей топором голову от тела. Когда я обнаружил мисс Маргарет, та пряталась в уголке, образованном выступающим за фундамент входом в погреб и стеной дома; при моем приближении она бросилась бежать, но я поймал ее, сперва несколько раз пырнул

шпагой, а потом добил, стукнув по голове колом от забора». Конец цитаты. Я ничего не спутал?

Я слушал молча. Кожу на голове покалывало.

– Очень хорошо, а теперь, перескочив через... ну, десять-пятнадцать предложений, обнаруживаем там нижеследующее. А ты слушай внимательно, потому что здесь все более-менее точно, как ты рассказывал. Цитирую: «Я занял место в тылу, и, поскольку моей целью было повсюду нести ужас и истребление, в авангарде я поставил пятнадцать или двадцать лучше всего вооруженных и наиболее надежных людей, которые к очередному дому обычно мчались на конях во весь опор; цель этим преследовалась двойная – не дать обитателям убежать и захватить их врасплох». Теперь вот, внимание: *«По этой причине с тех пор, как мы ушли от миссис Уайтхед, я каждый раз добирался до дома уже тогда, когда там всех убили.* Иногда я поспевал лишь к тому, чтобы увидеть результаты смертельной жатвы, молча окидывал довольным взглядом изуродованные тела и сразу пускался на поиски новых жертв. Убив миссис Уоллер и десять детей, мы направились к мистеру Уильямсу; убив его и двоих малолетних мальчиков, которые при нем оказались...» и так далее и так далее. Ну конечно же, Нат, все это только грубый парафраз твоих собственных слов, и ты что хочешь, можешь тут поправить. Но главный во всем этом пуант... хоть ты и не говорил такого специально, но я его сейчас тебе продемонстрирую посредством дедуктивного рас-

суждения. . . Так вот, главный пуант, это что во всей дьявольской бойне, где были навалены десятки и десятки трупов, ты, Нат Тернер, оказался персонально ответственным *лишь за одну-единственную смерть*. Я не прав? Прав, верно же? А ежели я прав, то выглядит это довольно странно. – Он помолчал, потом говорит: – Как так вышло, что ты совершил всего одно убийство? И почему из стольких ваших жертв – именно эта девушка? Преподобный, мы плодотворно поработали, нет слов, но именно этот плод покупать как-то не хочется. Не верится мне, что ты убил всего однажды.

Раздались шаги, громохание решеток, и вошел Кухарь с тарелкой холодной кукурузной каши и кружкой воды. Дрожащими руками он поставил тарелку и чашку на скамью рядом со мной, но по какой-то странной причине я больше не испытывал особого голода. Сильно заколотилось сердце, и я весь покрылся потом.

– Потому что непохоже, чтобы ты всю дорогу стоял в сторонке, – этакий фельдмаршал, руководящий битвой издали, вроде Маленького Капрала, что стоял в эффектной горделивой позе на холме, наблюдая за битвой при Аустерлице. – Грей помедлил, искоса глядя на Кухаря. – А что, бекона не нашлось для Проповедника?

– Это черные из заведения миссис Блант прислали, – ответил малый. – А который принес, сказал, что бекон у них кончился.

– Такого знатного пленника и таким дерьмом кормите, это

ж надо – холодная каша! – Юноша поспешно удалился, а Грей опять обратился ко мне: – Ведь поначалу ты в сторонке не стоял. Н-да, вот на что надо обратить внимание! Ты прямо будто из-под палки... ну-ка, ну-ка...

Зашелестели страницы. Я сидел неподвижно, весь в поту, с колотящимся сердцем. Его слова (мои? наши?) гремели у меня в мозгу, как какой-нибудь жестокий и скорбный стих Писания:....*подходя к двери, я увидел, что Билл выволок миссис Уайтхед из дома и на крыльце чуть не начисто отсек ей топором голову от тела.* Рассказывать было так просто, но почему же теперь, произнесенные Греем, эти слова вызвали у меня такую тревогу и тоску? Вдруг в память будто сами вломились мрачные строки: *После сего видел я в ночных видениях, и вот – зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него – большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами... Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню.* На миг воочию предстала тощая фигура Билла, его черное как ночь, резко очерченное лошадиное лицо с выпученными глазами, проломленным носом, отвисающими тонкими розовыми губами и белозубой накрепко приставшей кровожадной ухмылкой – лицо прирожденного убийцы, тупого и жестокого; меня даже передернуло, и не просто от холода, а будто лихорадка пробрала до мозга костей.

– Как из-под палки, *Horribile dictu*³... Теперь двинемся от конца к началу, где волей-неволей все время мысленно возвращаешься к убийству твоего последнего хозяина – приснопамятного и, добавлю еще от себя, благодетельного мистера Джозефа Тревиса. «У нас было такое общее мнение, что первую кровь должен пролить именно я. С этим намерением я, вооруженный топором, вошел вместе с Биллом в хозяйскую спальню, но из-за темноты смертельный удар у меня не получился, топор только слегка задел голову хозяина, тот спрыгнул с кровати и стал звать жену. То были его последние слова, *Билл* прикончил его тесаком»... и так далее и так далее. – Грей вновь смолк, мрачно обратив ко мне покрасневшее лицо с этими его пятнами и выступившими красными паучками сосудов. – Что ж такое? – проговорил он. – Биллу там было ничуть не светлее, чем тебе, если он, конечно, не из кошачьего роду-племени. Я ведь к чему все это, Преподобный. К тому, что... ну ты впрямую этого не говоришь, но напрашивается: дескать, непосредственно твоей можно считать только одну жертву. Более того, выходит, если я правильно понимаю, что сам акт убийства или попытки убийства потряс тебя, и пришлось Биллу выполнять за тебя всю грязную работу. Далее: как это ни странно, но Билл чуть ли не единственный из твоих негров, кого в ходе всех этих беспорядков убили. Выходит, предлагается верить тебе на слово. Убил только раз, в дальнейшем убивать не хотел – звучит

³ Страшно сказать (*лат.*).

приятно, только верится с трудом. Пойми, Преподобный, все ж таки ты был их предводитель...

Спрятав лицо в ладонях, я думал: *да, ныне познаю истину об этом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал...* Я почти уже не слушал Грея, который продолжал рассудительно:

– Или вот, Преподобный: та же ночь, но чуть позже, после Тревисов, Ризов и старика Салатиэля Френсиса. Вы прошли полями и затем «...не успели мы подобраться, как в семье нас заметили и заперли дверь. Зря надеялись! Билл топором сразу вышиб ее, мы ворвались и нашли миссис Тернер и миссис Ньюсом полумертвыми от страха. Билл без промедления убил миссис Тернер одним ударом топора. Я схватил миссис Ньюсом за руку и той шпагой, с которой меня застигли при поимке, нанес ей несколько ударов по голове» – теперь слушай внимательно! – «но убить ее у меня не получилось. Обернувшись и заметив это, Билл разделался и с ней тоже...»

Вдруг я оказался на ногах перед Греем, натянув свою цепь до предела.

– Хватит! Хватит! – закричал я. – Мы сделали это! Да, да, мы это сделали! Мы сделали то, что надо было сделать! И хватит перечитывать тут про меня и Билла! Хватит во всем этом рыться! Что должны были, то и сделали! И хватит уже!

Грей в испуге отпрянул, но когда я расслабился и с тря-

сущимися от холода коленями обмяк, глядя на него с таким видом, словно сожалел о вспышке внезапной ярости, он тоже успокоился, опять удобно расположился на скамье и в конце концов говорит:

– Что ж, если ты так считаешь, ладно. Тогда это твои похороны. Пускай я кровь от свекольного сока не отличу. Но я должен прочесть, а ты должен подписать это. Таково распоряжение суда.

– Простите, мистер Грей, – пробормотал я. – Я правда не хотел дерзить. Просто, я думаю, вы не понимаете, и, я думаю, наверное, уже поздно что-либо объяснять.

Я медленно перешел снова к окну и стал глядеть на проливной утренний свет. Выдержав паузу, Грей опять принялся тихо и монотонно читать; потом зашелестел страницами – видимо, в замешательстве.

– Гм. «...Молча окидывал *довольным* взглядом изуродованные тела». Это я специально выделяю. Впрочем, это уже излишество, правда?

Я не ответил. Слышно было, как в соседней камере Харк хихикает, отпуская себе под нос какие-то шутки. На улице продолжала лететь мелкая снежная пыль; она начала уже укрывать землю тончайшим белым слоем, словно инеем, бестелесным, как если на морозе дохнуть на стеклышко.

– Encore, как говорят французы, то есть опять двадцать пять: «... и сразу пускались на поиски новых жертв». Но это – ладно. Поехали дальше... – И опять он завел свое моно-

тонное бормотание.

Я устремил взгляд на реку. На том берегу, под деревьями, что растут на откосе, показалась процессия, которую я вижу каждое утро, хотя нынче что-то для них поздновато – обычно эти ребяташки появляются на рассвете. Как всегда, их четверо, четыре черных ребенка; старшему вряд ли больше восьми, младшему меньше трех. В бесформенных одежонках, которые замученная мамаша наделала для них из мешковины или еще какого-нибудь убогого тряпья, они брели под деревьями на дальнем берегу, собирая ветки и упавшие сучья для очага в их жалкой лачуге. Останавливались, наклонялись, вдруг устремлялись вперед – в неуклюжих и бесформенных своих размахаях они двигались легко и быстро, крепко прижимая к себе огромные охапки веток, палок и хворостин. Я слышал, как они перекликаются. Слов было не разобрать, но голоса в морозном воздухе раздавались явственно и звонко. Черные ручки, ножки, рожицы скакали вверх и вниз, шустрými птичьими силуэтами проглядывали на чистой сельской утренней белизне. Я долго наблюдал, как они, не зная безнадежной своей участи, движутся там по нетронутым заснеженным просторам и наконец исчезают со своею ношей; по-прежнему весело щебеча, уходят куда-то выше по реке за пределы поля зрения.

Внезапно я изо всех сил сжал лицо ладонями – вновь я был с пророком Даниилом, разделял его горячечные ночные видения, думал о его звере и криком кричал вместе с проро-

ком: *Господин мой! что же после этого будет?*

Но ответ был не от Господа. Был он всего лишь от Грея. В темницу моего сознания он, казалось, вернулся в журчании и ропоте текучих вод, в грохоте морских валов и завывании ветра.

– Правосудие! Правосудие. С его-то помощью рабовладение и простоят тысячу лет!

Харк всегда утверждал, что различать хороших белых и плохих белых – и даже тех белых, которые между плохими и хорошими посередке, – он может по одному лишь запаху. С важным видом он на этом настаивал; с годами внес в первоначальную методику множество уточнений и усовершенствований и мог бесконечно рассуждать о ней; когда мы с ним работали бок о бок, он громогласно поучал меня, надевая белых вроде Моисея, принесшего людям закон, благоуханиями чудесными и точно их описывая. Он способен был с серьезной миной пространно рассуждать об этом, и, пока он нес всю эту чушь, его широкая нахальная рожа хмурилась нешуточною заботой; но в основе своей Харк был веселым, открытым, добродушным и спокойным; он не мог долго пребывать в суровости и беспокойстве, несмотря на то что в прошлом попадал во множество ужасных передряг.

В конце концов некая мысль, связанная с белым человеком и определенным запахом, производила в нем что-то вроде внутренней щекотки – как он ни крепился, хихиканье

распирало его, переполняло, и наступал момент, когда он сдавался, хватал себя за живот и сгибался пополам, хохоча неудержимо, вздохнул, во всю глотку.

– Слышь, Нат, может, я какой ненормальный, – бывало, начинал он со всей серьезностью, – но это вот мое нюхало делается день ото дня все лучше. Вчера, скажем: иду это я вечером мимо сарая, а там мисс Мария кур кормит. Я было – нырк за угол, да уж куда там, углядела, старая. «Харк! – говорит, – ну-ка подь сюда». Подхожу, а у меня нос, чувствую, так и задергался, как у выхухоли, когда она его этак из воды хоботком выставит. «Харк! – говорит, – а зерно-то?» «Дык, – говорю, – какотакое зерно-то еще, мисс Мария?» – а запах все сильнее, сильнее становится. «Да под куриный навес зерно! – разъяряется сука старая. – Ведь сказано было тебе: мешок початков вылущить да курям задать, а, я гляжу, там зерна с гулькин нос! И это за месяц четвертый раз уже! Ленивый ты негодяй, бестолочь ты черномазая, сплю и вижу, когда мой братец тебя с рук сбудет, продаст в Миссисипи! Ну-ка давай луци початки, тупой балбес!» И, Господи Иисусе, такой тут запах пошел от старухи, что, будь это вода, я бы утоп и шляпа б моя уплыла. На что был запах похож? А будто кто в июле шуку на колоду положил да и забыл дня на три. – И он принимался хихикать, сперва этак исподволь, но уже глядь – хватается за бока. – О, вонючка-то! Такая здюлина сдохни – воронье клевать не захочет! – И тут уж смех до упаду.

Однако, согласно теории Харка, не от всех белых пахло скверно. Например, от мистера Джозефа Тревиса, нашего хозяина, несло, по его словам, «нормальной честной скотиной, как от коня, когда он поработает до пота». Джоэл Вестбрук, подросток, которого Тревис нанял в подручные, оказался парнишкой капризным и неотесанным, иногда закатывал истерики, но в хорошем настроении бывал дружелюбен и даже щедр, а потому и запах у него, согласно Харку, тоже был неустойчивым и капризным: «Вот парень, то он прям благоухает, что твое сено, а то вдруг как завоняет, хоть святых выноси!» А злобная мисс Мария, если послушать Харка, всегда своему запаху соответствовала. Она приходилась Тревису сводной сестрой и, когда умерла ее мать, приехала из Питерсберга жить у него в доме. Костистая, угловатая тетка, она страдала от полипов и могла дышать только ртом; из-за этого у нее губы трескались, облезали до мяса и кровоточили, и она лечила их мазью из топленого свиного жира, отчего ее всегда полуоткрытый рот делался белесым и придавал ей вид, ну точь-в-точь как у привидения. В глаза она никогда не смотрела, а еще у нее была привычка потирать запястья. К нам, неграм, которые были у нее на побегушках, она испытывала глубокую и бессмысленную ненависть, которую тем тяжелее было выносить, что мисс Мария не была в полном смысле членом семьи, но от этого в ее отношении к нам сквозила еще большая грубость, отчужденность и произвол. Летними ночами из окон второго этажа, где была ее

спальня, доносились всхлипы; иногда я слышал, как она плачет навзрыд и зовет навсегда ушедшую мать. Примерно сорокалетняя и, как я подозреваю, старая дева, она непрестанно с какой-то истомленной, лунатической истовостью читала вслух Библию – чаще всего из Иоанна, главу 13, где речь идет о смирении и сострадании, а еще ей нравилось цитировать шестую главу Первого послания к Тимофею, которая начинается так: *Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение.* Так она это место любила, что, если верить Харку, однажды прижала его к стене веранды и заставляла повторять сие поучение до тех пор, пока тот не выучил его наизусть. У меня нет сомнений, что она была более чем слегка с приветом, что вовсе не уменьшало моей острой неприязни к мисс Марии Поуп, хоть иногда я и ловил себя на некотором, вряд ли осмысленном и разумном, чувстве жалости к ней.

Однако мисс Мария – это, что называется, мелочь пузатая по сравнению с тем, к кому я этаким кружным путем подбираюсь: его зовут мистер Джеремия Кобб, тот самый судья, который скоро будет приговаривать меня к смерти, а ведь и с ним судьба уже устраивала мне встречу, подведя к ней посредством сложной серии имущественных сделок, о чем я и попробую сейчас коротко рассказать.

Как я сообщал уже мистеру Грею, родился я в имении Бенджамена Тернера, о коем едва помню. Он погиб внезап-

но (мне было тогда лет восемь или девять, а он, будучи лесоторговцем и владельцем лесопилки, погиб, когда не в добрый час повернулся спиной к подрубленному кипарису), а я по наследству перешел к его брату, Сэмюэлю Тернеру, чьей собственностью оставался лет десять или одиннадцать. К этому периоду, как и к предшествовавшему, я в надлежащий момент еще вернусь. Потом состояние Сэмюэля Тернера мало-помалу расстроилось, подступали и другие проблемы; в итоге он не мог больше управляться с лесопилкой, которую, как и меня, унаследовал от брата, и в результате меня впервые продали – мистеру Томасу Муру, причем (не удержусь, подчеркну иронию происшедшего!) упомянутая сделка вступила в силу в самый момент моего вступления в совершеннолетие: мне как раз стукнуло двадцать один год. В собственности мистера Мура, который был мелким фермером, я пребывал девять лет до его смерти – кстати, опять несчастный случай: Мур раскроил себе череп, помогая отелу. Корова никак не могла разродиться, он обвязал торчащие телячьи копытца веревкой, чтобы вытащить; потел, тянул, теленок томно взирал на него сквозь мокрую оболочку последа, но тут веревка лопнула, и Мура роковым образом швырнуло назад, затылком о столб забора. Проку мне от Мура было мало, так же мало я и горевал по нем, однако в тот раз я уже не мог не призадуматься: не навлекаю ли я на своих владельцев какую-то порчу, вызывающую упадок в хозяйстве, как это, я слышал, бывает в Индии, когда купишь

определенной породы слона. После безвременной кончины мистера Мура я перешел в собственность его сына Патнема, которому тогда было пятнадцать. На следующий год вдова мистера Мура мисс Сара вышла замуж за Джозефа Тревиса, мечтавшего о наследнике пятидесятипятилетнего бездетного вдовца, мастера-колесника по профессии, который жил в тех же местах близ Кроскизов и оказался последним в благодушной череде моих злосчастных обладателей. Ибо, несмотря на то что титульным моим владельцем был Патнем, я принадлежал также и Тревису, который имел на меня все права, пока Патнем не достиг зрелости. Таким образом, когда мисс Сара вышла замуж за Джозефа Тревиса и поселилась под его крышей, я стал рабом как бы «в квадрате» – состояние нельзя сказать чтоб совсем уж неслыханное, но добавочно неприятное для раба, полупомешанного от осознания даже и первой степени рабства.

Дела у Тревиса шли средне; иначе говоря, подобно другим обитателям этих не очень густонаселенных сонных болот, он зарабатывал чуть больше, чем на еду. В отличие от злополучного Мура, дело, к которому Господь его приставил, он знал назубок, и я от души радовался своей способности помогать ему в ремесле, тем паче после стольких лет прозябания у Мура, где была не работа, а тягомотина: то натаскай ему воды, то месива задай его болезненным, чахлым свиньям, да еще попеременно то жарься, то мерзни на кукурузном поле и хлопковом наделе. Более того, условия новой мо-

ей работы в колесной мастерской, где приходилось быть мастером на все руки, оказались таковы, что у меня появилось ощущение благополучия – по крайней мере физического, – чего я не испытывал с тех пор, как покинул имение Сэмюэля Тернера больше десяти лет назад. Подобно большинству других хозяев по соседству, Тревис не гнушался и земледелия – у него было что-нибудь около пятнадцати акров полей под кукурузой, хлопком и покосами плюс яблоневый сад, главное назначение которого состояло в производстве сидра и яблочного виски. Впрочем, с тех пор как колесная мастерская стала давать мало-мальский прибыток, Тревис свернул полевые работы и стал сдавать землю внаем, оставив себе только яблоневый сад, маленький огородик да полоску хлопчатника для собственных нужд. Кроме меня, у Тревиса было всего два негра, каковое количество, при всей его малости, не столь уж необычно, поскольку немногие из хозяев в здешних местах могут в наше время прокормить больше пяти-шести рабов, а уж найти настолько преуспевающего господина, чтобы у него их было с десяток, так это вообще редкость. Еще недавно Тревис сам имел семь или восемь рабов, не считая нескольких неспособных к труду малолеток, но его земельные владения уменьшились, а прибыль от ремесленного промысла возросла, и вся эта буйная ватага стала ему в тягость – и впрямь, это какой капитал надо иметь, чтобы кормить столько прожорливых ртов! Поэтому года три назад после мучительных сомнений морального порядка (так

по крайней мере говорилось) он всю рабочую силу продал – всех, кроме одного, – торговцу, который крепко подмял под себя поставки живого товара в дельту Миссисипи. Единственным оставшимся был Харк, парень младше меня на год. Он родился на огромной табачной плантации в округе Сассекс и в пятнадцатилетнем возрасте был продан Тревису, когда табак настолько истощил землю, что плантация пришла в упадок и запустение. Я знал его не один год и полюбил как брата. Другого негра, приобретенного уже после распродажи и отправки всех и вся в Миссисипи, звали Мозес – довольно рослый малый лет двенадцати, черный как смоль и с бегающими, всегда испуганными глазами; запоздало обнаружив нехватку рабочих рук, Тревис купил его на рынке в Ричмонде за несколько месяцев до моего появления. Для своего возраста хорошо развитый физически, сильный и, я думаю, неглупый, он рано лишился матери и от этого так до конца и не оправился – ходил будто сам не свой, все время в каком-то оцепенении, часто плакал и мочился в штаны, причем иногда прямо во время работы; в конечном счете он оказался обузой, особенно Харку, в бычьем теле которого жила душа заботливой мамыши, понуждавшая его утешать и нянчить всякого найденыша.

В тот день, когда мне впервые встретился судья Джереми Кобб (то есть почти за год до вынесения мне смертного приговора), население фермы было таково: трое негров – Харк, Мозес и я – и шестеро белых – мистер и миссис Тревис,

Патнем, мисс Мария Поуп и еще двое. Из этих двоих первый – уже упоминавшийся пятнадцатилетний Джоэл Вестбрук, подающий надежды колесник, подмастерье, которого Тревис готовил себе в напарники, а второй – двухмесячный сын Тревиса и мисс Сары, родившийся с лиловым пятном посередине крошечного личика, будто там оттиснулся сморщенный подсохший лепесток увядающей горечавки. Белые, естественно, жили в господском доме – скромном, простом, но удобном двухэтажном строении о шести комнатах, которое Тревис возвел лет двадцать назад. Сам нарубил бревен, обтесал их, сложил дом так, что комар носа не подточит, проконопатил со смолой от непогоды, а поверх еще и оштукатурил, к тому же дальновидно оставил нетронутыми несколько стоящих вокруг огромных буков, и они теперь со всех сторон давали тень от летнего солнца. Рядом с домом, в двух шагах по дорожке через огород и мимо свинарника, была колесная мастерская, оборудованная в бывшем коровнике. Вокруг нее вращалась вся жизнь обитателей фермы: здесь хранились запасы дубовых, ясеневых и железных заготовок, стоял кузнечный горн с наковальнями и оправками, поковочными молотками и клещами; над верстаком с тисками висели рядами зубила и долота, коловороты и пробойники и множество прочего инструмента, которым Тревис пользовался в непростом своем ремесле. Без сомнения, во многом благодаря моей репутации (вполне приличной, хотя и несколько двусмысленной, даже кое в чем подозрительной, а в чем, это

я скоро объясню) – репутации безобидного, пусть несколько не от мира сего, но забавного негра-проповедника, неразлучного с Евангелием, – впоследствии меня сделали смотрителем мастерской, более того, по ходатайству мисс Сары, поручившейся за мою честность, Тревис дал мне дубликаты ключей. Работы у меня было предостаточно, но положила руку на сердце нельзя сказать, чтобы я переутомлялся: в отличие от Мура Тревис не был прирожденным надсмотрщиком, ну не любил он бессмысленно гонять слуг в хвост и в гриву, ему и так помощников хватало, причем даже добровольных – в лице приемного сына, да и того же юного Вестбрука, такого преданного подмастерья, каких еще поискать.

Так что в сравнении с тем, к чему я привык, мои обязанности были легки и необременительны: я содержал помещение в чистоте и подставлял плечо в тех случаях, когда требовалась добавочная сила, – например, когда гнули обод колеса; иногда я подменял Харка, устававшего непрерывно качать мехи горна, но вообще-то впервые за все последние годы задачи, с которыми я сталкивался, бросали вызов не мускулатуре, а выдумке и изобретательности. (Вот характерный пример. Еще с тех пор, когда мастерская была коровником, на чердаке оставались колонии летучих мышей, что представлялось допустимым в обиталище рогатого скота, но для людей, день-деньской работающих внизу, дождем сыплющийся повсюду мышинный помёт стал напастью нестерпимой. Тревис испробовал с полдюжины разных способов из-

бавиться от постояльцев – все напрасно: он пробовал дым, пробовал даже огонь и чуть не спалил все строение, тогда как я с той же целью просто пошел в лес, где было известное мне гнездо полоза, взял вялую, свернувшуюся в спячке змею за хвост, принес и положил под застреху. Когда спустя неделю пришла весна, летучие мыши скоренько испарились, а сытый полоз продолжал дружелюбно с нами соседствовать, благодушно ползая по углам и по пути подъедая крыс и полевок, так что само его присутствие заставляло Тревиса молча восхищаться моей сметливостью.) Так или иначе, но можно сказать, что с самого момента перехода к Тревису я жил приятной и благостной жизнью, лучше которой у меня не было уже и не помню сколько лет. Мисс Мария со своими придирками досаждала, конечно, но это сущие пустяки. Вместо негритянской кормежки, к которой я привык у Мура (солонины с кукурузной лепешкой), здесь давали домашнюю еду – постного бекона и вареного мяса от пуза, иногда даже остатки жареной говядины и частенько белый пшеничный хлеб; односкатная пристройка к мастерской, где Харка и меня поселили вместе, оказалась достаточно просторной, и там я впервые со времен достопамятного Сэмюэля Тернера спал в кровати, а не прямо на земле; с благословения хозяина я соорудил еще и замысловатый деревянный воздуховод, сквозь стену ведущий в пристройку прямо от горна, всегда полного горячих угольев, причем летом воздуховод можно было перекрыть, зато зимой из него веяло ровным теплом,

и мы с Харком пребывали в уюте, как те два таракана за трубою. (Тогда как бедняга Мозес спал в доме, в сыром кухонном чуланчике, чтобы быть у хозяев под рукой в любое время дня и ночи.) Но главное, у меня появилось какое-никакое свободное время! Появилась возможность рыбачить, ставить силки и вплотную заняться Священным Писанием. С тех пор как я взлелеял мысль о том, что надо поголовно истребить белых хотя бы в округе Саутгемптон (далее уж там – как Бог даст), прошел уже не один год, так что очень кстати у меня теперь появилось время, которого прежде не было, чтобы размышлять над Библией, ее примерами и наставлениями, обдумывая сложности кровавой миссии, которую мне предстояло исполнить.

Ноябрьский день, когда я увидел Джеремию Кобба, помнится мне совершенно ясно: вечерело, порывистый ветер гнал к востоку низкие серые облака, под ними до самого леса лежали желто-коричневые пустые поля, и надо всем витал какой-то особый дух осенней скуки; исчезли насекомые с их жужжанием и гудением, певчие птицы улетели на юг, оставив над полями и лесами лишь огромный серый колпак тишины; ничто не шелохнется, минута идет за минутой в полном безмолвии; чу! – сквозь туман вдруг долетит вороний грай с дальнего поля, слабый невнятный отголосок, вновь быстро затихающий где-то в заречье, и опять молчание, прерываемое только царапаньем и шуршанием гонимых ветром мертвых листьев. В тот вечер сперва я услышал на севере

тявканье собак, словно они бегут к нам по дороге. День был субботний, Тревис с Джоэлом утром уехали по какой-то надобности в Иерусалим, и Патнем возился в мастерской один. Я сидел в уголке пристройки, высвобождал из тенет попавшихся кроликов, и тут среди глубокого, давящего молчания с дороги вновь донесся собачий лай. То были виргинские паратые гончие, лисогоны, хотя для настоящей охоты их было маловато; я, помнится, удивился, но удивление тотчас прошло, когда я выглянул и на дороге увидел взвихренную пыль, из которой явился высокий белый мужчина в неопределенного цвета касторовой шляпе и сером плаще, высоко вознесенный на сиденьице охотничьей двуколки, запряженной резвою вороной кобылой. Позади сиденья, пониже, было отделение, где сидели три собаки – широкомордые и вислоухие, они облаивали одну из хозяйских рыжих дворняжек, а она пыталась до них добраться, прыгала и совалась носом между колесных спиц. Я тогда, кажется, первый раз увидел специальную повозку для охоты с собаками. С того места, где я стоял, было видно, как экипаж остановился перед домом и как слез с него приехавший господин; я отметил, что спустился он как-то неловко, на мгновение вроде бы покачнулся или запнулся – будто колени подогнулись, но тут же выправился, что-то себе под нос буркнул и попытался пнуть дворняжку, но не попал даже близко, с громом угодив сапогом в борт коляски.

Зрелище было забавным – вообще для негра первейшее

удовольствие подсмотреть за белым, когда тот в глупом положении, – смешок уже чуть было не вырвался из моей груди, но тут приехавший обернулся, и я прикусил язык. Впервые я мог вблизи рассмотреть незнакомца: это надо же, лицо-то какое несчастное! Опрокинутое, раздавленное тоскою, как будто горе физически наложило на него печать, исказило и заострило черты, придав ему выражение неизбывной боли. Помимо этого, теперь стало ясно видно, что человек изрядно пьян. Сперва он хмуро уставился на собачонку, с лаем крутящуюся вокруг в дорожной пыли, потом поднял ввалившиеся глаза к серым тучам, стремительно бегущим по небу. Кажется, он проворчал что-то и сразу закашлялся. Потом резким неловким движением запахнул на своей долговязой костлявой фигуре плащ и принялся одетыми в перчатки трясущимися руками привязывать кобылу к столбу коновязи. Мисс Сара с веранды позвала его:

– Судья Кобб! Вот те на! Что вы там такое делаете?

Он что-то прокричал ей в ответ, но слова спутало, снесло порывом ветра. Вокруг него взметнулся вихрь опавших листьев, собаки заходились лаем, ладненькая кобылка горячилась, встряхивала гривой и била копытами. Или нет, я все же разобрал тогда его слова: какая-то там охота в Дрюрисвиле, он спешит туда с собаками, а в колесной буксе как заскрежест! Не иначе ось треснула, расщепилась или еще что; а случилось это тут, недалече, вот он починиться и заехал. Как там Джо? Дома ли? И снова с веранды мисс Сара – голосо-

стая, грудастая, жизнерадостная:

– Джо дома нет! Они уехали! С утра в Иерусалиме! А вот мальчишка мой, Патнем – он тут как тут, в кузне! Починит вам колесо в лучшем виде, судья Кобб, не извольте беспокоиться! Зайдите, посидите чуток!

– Спасибо, нет, мадам, – проорал в ответ Кобб. Нет, он спешит, ему бы только ось бы починили, и он уехал бы.

– Ну тогда – что ж, тогда небось сами знаете, где у нас винокурня. – (Мисс Сара – само радушие.) – Вон там, за мастерской сразу. Там у нас и виски имеется! Сами наливайте да пейте вволю!

Я вернулся в свой уголок пристройки, к своим кроликам, и на время забыл про Кобба. Тревис разрешал мне ставить силки, то есть он даже сам меня и надоумил, с условием, что из каждых трех пойманных мною кроликов два отходят ему. Такая договоренность меня устраивала, поскольку этой живностью округа кишмя кишела, и остававшихся на нашу с Харком долю еженедельно двух-трех кроликов хватало нам на пропитание за глаза и за уши, а то, что Тревис большую часть кроликов продавал в Иерусалиме и денежки придерживал, меня не касалось, надо же и ему свою выгоду получать: если я весь – как мышцей, так и умыслением – его капитал и он стрижет с капитала проценты, то я только рад, что эти проценты я способен добывать столь приятным для себя способом. Потому что, после того как я тупо гнул спину у Мура, для меня величайшим удовольствием было иметь

возможность пользоваться присущими именно мне талантами и навыками: самому придумывать ловушки – например, коробчатые, которые я делал из обрезков сосновых дощечек, взятых из мастерской; своими руками я выпиливал и выстругивал стенки, вырезал штифтики и храповые колесики, изобретая механизмы подвески дверец, потом один за другим собирал аккуратные маленькие гробики в единую, четко и безмолвно работающую смертоносную машинерию. Но это еще не все. Не менее чем изготавливать ловушки любил я проверять свои засады и секреты, бродить в рассветной тиши по лесу, когда под ногами потрескивает ледок, а в низинах молоком стоит утренний туман. За утро проходил мили три по знакомой лесной тропке, устланной хвоею; я даже сделал себе специальную матерчатую сумку, в которой носил с собой Библию и завтрак – пару яблок и полосатенький, в прожилках жира и мяса, шмат свинины, приготовленный накануне вечером. На обратном пути Библия в сумке соседствовала с парой длинноухих, которых я бескровно умерщвлял при помощи ореховой дубинки. По пути передо мною во множестве разбегались белки: перебежит и встанет, перебежит и встанет, так что с некоторыми я даже познакомился, наделил их именами – ветхозаветными, святопророческими вроде Ездры и Амоса – народец беличий я причислял к блаженным, поскольку в отличие от кроликов в ловушки они не очень-то лезут по самой своей природе, а стрелять их нельзя по закону (по крайней мере мне, ибо неграм вообще запре-

щено пользоваться огнестрельным оружием). То было тихое, кроткое, чистое время суток: мягко светило солнце, бледное от рос и туманов, лес обступал, укрывал своей сенью и предзимним безмолвием – все как наутро Творения, когда свежо было дыхание духа жизни в ноздрях каждой твари Божией.

На самый конец обхода я оставлял небольшой пригорок, с трех сторон окруженный чащей дубового мелкоколесья; здесь я располагался завтракать. С этого пригорка (он, будучи вряд ли выше среднего дерева, оставался высшей точкой местности на многие мили вокруг) я мог тайно и беспрепятственно озира́ть окрестности, в том числе несколько фермерских хозяйств, когда-нибудь захватить и опустошить которые я поставил уже своей задачей. В результате, обходя по утрам капканы, я заодно проводил разведку и строил планы великих событий, а события эти – я чувствовал – назревали. Потому что в такие моменты надо мною, казалось, парил дух Божий, осенял меня и напутствовал: *Сын человеческий! изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: скажи: меч, меч наострен и вычищен; наострен для того, чтобы большие закалать; вычищен, чтобы сверкал как молния... уже наострен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы.* О, Иезекииль! О, Иезекииль с его священной яростью! – из всех пророков с ним одним ощущал я родственную близость и над его словами каждый раз подолгу размышлял, сидя утром на своем холме с полной сумкой битых котонтейлов сильвилагусов и с полной утробой свинины и яблок, потому

что через его слова (куда более чем через слова других пророков) направляющая мою судьбу воля Божия открывалась явственно и зримо: *пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, вздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак... Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на коем знак... Частенько, обдумывая эти строки, я недоумевал, зачем Господь велит обещать лицемеров и поразить беспомощных, но тут уж ничего не поделаешь – это Его слово!*

Что за мгновения порою выпадали в эти утра – намеки, предвестия, знаки близости чуда! Мне трудно описать восторг, который временами охватывал меня, когда среди рассветного торжества сидел я на потаенном взгорке и воочию прозревал грядущее, назначенное мне непреложно, как Саулу или Гедеону, – мне, черному, как само отмщение, предстояло стать неотразимым, безжалостно карающим орудием Божьего гнева. *Так говорит Господь Бог: так как враг говорит о вас: «а! а! и вечные высоты ваши достались нам в удел», то изреки пророчество и скажи: за то, именно за то, что поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов... в огне ревности Моей Я изрек слово на прочие народы, поднял руку Мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. И когда озираю я в эти утра с высоты наши серые, пустые и поосеннему унылые дали, яснее ясного казались мне и Его во-*

ля, и мое призвание: когда-нибудь освобождение своего народа я должен буду начать именно с этих – да-да, с тех, что лежат там, внизу – сонных, туманом окутанных обиталищ: я обреку их на разор и погибель и двинусь дальше на восток, через поля и болота, туда, где град Иерусалим.

Н-да, как бы этак вновь вернуться к Коббу, что-то я все вокруг да около... и, кстати, чуть-чуть опять про Харка. У Харка был прямо-таки нюх на вещи странные, из ряда вон выходящие: если бы он умел читать и писать, был бы белым, свободным, жил в какие-нибудь идиллические времена, будь он при этом кем угодно, лишь бы не инвентарем, которому цена в базарный день шестьсот долларов, – ну да, а что, тогда бы он мог стать адвокатом; но, как это ни прискорбно, даже христианское учение (которое главным образом я же и преподавал ему) на его духовном воспитании сказалось весьма слабо, так что, свободный от правил и ограничений, налагаемых набожностью, над дикими нелепостями жизни, он просто смеялся от души и пищу для своих насмешек находил себе каждый Божий день. Короче, у него всегда был дар сразу откликаться на всякую дурацкую чушь, что сыплется на тебя каждодневно; должен признаться, я этому даже слегка завидовал. Был такой случай: как-то раз, когда наша пристройка за мастерской не была еще как следует доделана, во время ужасной грозы с проливным дождем хозяин зашел нас проведать, глянул вверх на струи воды с потолка и говорит: «Гм, ну и льет тут у вас». На что Харк, мгновенно:

«Нет, сэр, маса Джо. Льет – это там, снаружи. А у нас тут – так себе, дождичек». Неудивительно, что именно Харк дал словесное выражение некоему внутреннему, лежащему в основе бытия чувству, которое почти невозможно определить словами и которому тем не менее лет с двенадцати или десяти или даже раньше обучается каждый негр, едва осознав, что в глазах белого он всего лишь товар – даже не тварь, скорее утварь, лишенная характера, личностной уникальности и души. Харк назвал это чувством «черножопости», и это слово, на мой взгляд, как нельзя лучше объединяет в себе и внутреннюю зажатость и подспудный черный ужас, который постоянно гнетет сердце каждого негра. «Не-е, Нат, это ты брось, это не важно – хорошие они, плохие или еще какие, пусть даже сам наш хозяин маса Джо, белые всегда заставят тебя почувствовать *черножопость*. Всегда так, пусть белый даже улыбается мне, я от этого все равно еще в два раза черножопее себя чувствую. А отчего? Вот ты представь, Нат, представь, что белый нормально с тобой, по-доброму, все путем, так ты что, почувствуешь себя *беложопым*? Дудки! Старый маса, молодой маса, о-ё-ёй, маса, а-я-яй, маса, ну сплошная же *черножопость*! Или вот ты говоришь, я на небо попаду – ну допустим, так ведь там даже перед добрым Боженькой, даже перед ним старый дурень Харк будет чувствовать черножопость: эка ведь стоять там, против трона-то золотого, прикинь? Он-то белый весь, что твой снег, вроде добренький дяденька, а все одно, стоишь весь из себя

хоть и ангел, а опять черножопый. Потому что, оглянуться не успеешь, Он как заорет, как ногами затопает. «Харк, – закричит, – где ты там! Опять, что ли, в тронном зале прибраться забыл! Ну-ка давай за метлу, да по-быстрому у меня, негодяй черножопый! Да тряпку-то как следоват намочи!»

Место, занимаемое белым человеком в разговорах негров, невозможно преувеличить, но тут я, пожалуй, даже точно помню, что именно эту речь сидя на корточках держал передо мною Харк (выйдя из пристройки, он помогал мне свежевать и потрошить кроликов), именно об этом говорил он в тот серый ноябрьский вечер, когда вдруг нависла над нами чья-то едва различимая тень и мы оба, одновременно почувствовав за спиной чье-то присутствие, встревоженно оглянулись, и – нате вам! – над нами, с этим своим расстроенным, опрокинутым лицом, стоит Джеремия Кобб. Не знаю, слышал он рассуждения Харка, не слышал, навряд ли это важно. Просто мы оба с Харком не ожидали увидеть над собой начальственную долговязую фигуру судьи, а он уже – глядь – маячит над нами, стоит, слегка покачиваясь, на фоне облачного неба; так тихо и внезапно он, что называется, свалился на нашу голову, что прошли секунды, прежде чем до нас дошло, и мы, повыпустив из рук окровавленных кроликов, начали подыматься, вставая в почтительную и покорную стойку, каковую любой мало-мальски сообразительный негр принимает, когда поблизости возникает белый незнакомец, бесперечь неизвестно какими настроениями и предубежде-

ниями обуреваемый. Но нынче, не успели мы подняться, он остановил нас.

– Нет-нет, – сказал он, – нет, не надо, продолжайте, – причем голос у него оказался неожиданно грубый и сиплый, а руками он еще этак показал, дескать, сидите, продолжайте работу, что мы и выполнили, вновь опустившись на корточки, но с его кислого, хмурого, искаженного страданием лица пока все же глаз не сводили. Внезапно он оглушительно икнул, и этот звук был столь несообразен, неприличен и даже смешон (особенно в сопоставлении с его суровым ликом), что тишина, за ним наступившая, показалась непомерною; вдруг он опять икнул, и в этот раз я уже точно почувствовал, что Харк всем своим мощным телом стал содрогаться – что это было? смех? страх? замешательство? Но тут Кобб произнес:

– Н-ну, р-ребята, где тут в-вино?

– А вон там, маса, сэр, – ответил Харк и указал на будку, тоже пристроенную прямо к стене мастерской двумя-тремя ярдами дальше, – там за распахнутой дверью в пахучей и пыльной сырости лежали бочонки с сидром. – Красная бочка, сэр. Эт-тая бочка для джентльменов, маса. – Если уж Харк принимался разыгрывать из себя черномазого подлизу, голосок у него становился сладким и масляным, что твой елей. – Маса Джо, сэр, припас эт-тую бочку для знатных джентльменов!

– Да х-хрен с ним, с сидром, – с трудом выговорил Кобб. –

Где тут у вас виски?

– Виски-то? В бутылках на полке, – отозвался Харк. Он опять начал подыматься с корточек. – Да я принесу вам, масса. – Но вновь Кобб кратким махом длани усадил его обратно.

– Не над, не над, прол-лжай, – сказал он голосом, который особого добра не сулил, хотя и зла тоже, просто был чужим и безразличным, но при этом в нем звенела струнка боли, как будто судья всеми силами старается подавить в себе какую-то тревогу. Он говорил резко, холодно, но не было в нем ничего, что можно было бы назвать надменностью. Тем не менее что-то в нем задевало меня, наполняло острейшей неприязнью, но лишь когда он умолк и двинулся, пошатываясь и запинаясь, по бурому от ломкого сухого бурьяна проходу к винокурне, я понял, что не в нем самом было дело, но скорее в том, как вел себя Харк в его присутствии, – дядя Том да и только: никакого достоинства, беспрестанное холуйское хихиканье и мерзкие, подобострастные ужимки.

Харк распорол брюшко очередного кролика. Тельце все еще хранило тепло (по субботам я иногда собирал добычу под вечер); Харк приподнял его за уши, чтобы не упустить кровь: прямо в ней мы кроликов тушили. Помню, как я сидел против Харка на корточках и, охваченный внезапной яростью, глядел в его спокойное, лоснящееся благополучием черное лицо с большим лбом и волевым, красивым очерком широких скул. С идиотической увлеченностью он сле-

дил за струйкой густой темно-красной крови, изливающейся в подставленную миску. Лицо у него было такое, что глянешь и скажешь: вот! лицо вождя африканского племени – властное, бесстрашное, решительное и поражающее отчетливой симметрией линий; и все же что-то было не так с его глазами: его глаза или, вернее, выражение, с каким они частенько смотрели – как вот тогда, к примеру, – снижали впечатление от лица, сообщая ему вид безобидной и туповато-податливой покорности. Глаза ребенка, доверчивого иждивенца, глаза пугливой лани, подернутые чуть заметной поволокой робости, а в тот момент так просто женские глаза на его тяжелом, мужественном лице, туповато обращенном к струйке кроличьей крови, и вот от этого я и взъерился. Слышно было, как Кобб со стуком и бряком ворочается в винокурне. Нас он слышать не мог.

– Засранец ты черномазый! – выпалил я. – Сопли тут перед белым распустил, лизоблюд поганый! Да ты, ты, Харк, вонючка черномазая!

Грустные глаза Харка обратились ко мне, доверчивые и по-прежнему робкие.

– Да ты чо, слышь... – начал он сорвавшимся, встревоженным тоном.

– Заткни хайло, ты! – не унимался я. Я был в ярости. Так и подмывало тылом ладони с разворота вlepить ему леща, да по губам. – Заткнись, понял? – Понизив голос, хриплым полупшепотом я принялся передразнивать: «Красная бочка,

сэр! Эт-тая бочка для джентльменов, маса! Я вам и виски принесу!» Чего ты лезешь, чего ты ему задницу лижешь, поганец черномазый? Я тут с тобой чуть прямо не *блеванул* вообще!

Харк удрученно потупился, обиженно глядя в землю; не отвечал, лишь шевелил влажными губами, сосредоточенно про себя что-то шептал, словно не мог сдержать жестоких угрызений.

– Ниггер ты несчастный, да как же ты не понимаешь? – продолжал я напирать со всех сил. – Как ты не видишь *разницу*? Разницу между обычной вежливостью и холуйством, а? Он даже не сказал «дайте выпить». Сказал только «где винокурня?». *Вопрос задал* – всё! Всё! А ты уже тут как тут, ужом подползаешь, аж извертелся весь на брюхе, прямо как гада подколотная – маса то, маса сё! Такое как увидишь, весь обед обратно выскочит!

Не будь духом твоим поспешен на гнев; потому что гнев гнездится в сердце глухых. Устыдившись, я тут же успокоился. Харк был подавлен до крайности. Я сказал ему уже мягче:

– Надо учиться, дружище. Разницу понимать. Я вовсе не к тому, чтобы ты лез на рожон, а то от них и схлопотать недолго. Хамить, дерзить – это не обязательно. Но есть же мера всему. Когда ты так ведешь себя, ты роняешь себя как мужчина. Уже не мужчина ты, а дурак! И одно и то же всю дорожку, снова и снова, и с Тревисом, и с мисс Марией, и, Господи помилуй, даже с пацанами с ихними. Ты ничему не учишь-

ся, дурак ты! *Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою.* Дурень ты, Харк. Как же мне научить-то тебя?

Харк не ответил, сидел на корточках и шевелил губами обиженно и уныло. Нечасто я сердился на него, но, когда это случалось, мой гнев задевал его по-настоящему. Я любил его и, если взрывался, часто потом ругал себя, видя его страдание, однако в каком-то смысле он был как породистый пес – молодой, красивый, бесшабашный, пылкий, но, как и пса, его надо было дрессировать, чтобы держался с достоинством. Хотя я его и не посвятил еще в свои великие планы, но я хотел, чтобы, когда придет время истреблять белых, Харк был моею правой рукой, моим мечом и щитом: он всем был наделен для этого – умный, находчивый и сильный, как медведь. Но один вид белой кожи повергал его в трепет, смирял и низводил до состояния подобострастной холопской униженности; я понимал, что, прежде чем до конца ему довериться, надлежит с корнем вырвать из его характера этот росток слабости, которую я и прежде наблюдал в неграх, проведенных подобно Харку детские годы на больших плантациях. А то что ж это получится: мой старший помощник, а в душе всего лишь презренный ниггер, который при виде белого горазд лишь кланяться, пятиться и забавно шаркать ножкой, тогда как должен не моргнув глазом мгновенно выпустить ему кишки. Короче, на Харке надо было поставить опыт – опыт необходимый и решающий. Прискорб-

но, но факт: большинство негров одрессированы и послушны, однако многих из них душит злоба, и тонкий слой лести, елея, под которым они свою злобу прячут, – не более чем притворство. С Харком все ясно: надо сорвать с него этот слой, разрушить позорную внешнюю маску и при этом всячески способствовать тому, чтобы он взращивал, лелеял в себе смертельную злобу, которая прячется внизу. И почему-то не думал я, чтобы на это понадобилось много времени.

– Не знаю, Нат, – в конце концов заговорил Харк. – Я стараюсь, стараюсь... Но, похоже, никак не могу переступить через ощущение черножопости. Но я стараюсь. – Он помолчал, чуть-чуть покачивая в раздумье головой над окровавленным трупиком, что держал в руках. – Ну и потом тот господин – он такой печальный, такой у него вид горестный. Я вроде как пожалел его. Как ты думаешь, что его так печалит?

Слышно было, как Кобб бредет по сухой траве из винокурни, спотыкается, его пошатывает, с хрустом ломаются ветки, попавшие под сапог.

– Жалей-жалей! Белого жалеть что пузом на рожон переть, – совсем тихо сказал я.

И тут, пока я говорил, у меня соединились в голове концы с концами; я вспомнил, как несколько месяцев назад подслушал разговор Тревиса и мисс Сары об этом Коббе и жутких несчастьях, навалившихся на него в последний год всемогуществом, как на Иова: преуспевающий торговец и банкир, человек обеспеченный и влиятельный, верховный судья окру-

га, президент окружного охотничьего клуба, он в одночасье лишился жены и двух взрослых дочерей, которых на побережье Каролины скопил брюшной тиф, причем ирония судьбы в том, что в Каролину он сам их и отправил поправлять бронхи после зимних простуд, которым все три дамы были подвержены. Вскоре после этого в его конюшне, новехоньком строении на окраине Иерусалима, случился пожар, она сгорела дотла, и в губительном огненном вихре почти мгновенно погибло все, что в ней находилось, в том числе три призовых охотничьих жеребца моргановской породы и много ценных английских седел и упряжи, не считая конюха, юноши-негра. Впоследствии несчастный муж и отец, с горя тяжело пристрастившийся к бутылке, упал с лестницы и сломал ногу; она срослась неправильно, и хотя давала возможность ходить, но вызывала не очень высокую, зато весьма надоедливую «чахоточную» температуру и непрерывную мучительную боль. Когда я впервые услышал об этих свалившихся на него бедствиях, я не мог не ощутить злорадства (только не надо меня считать совсем уж бессердечным – я не таков, и вы вскоре это поймете, однако переоценить удовольствие, которое охватывает негра, узнавшего о несчастье, постигшем белого, переоценить это приятнейшее чувство, похожее на вкус лакомства, неожиданно перепавшего при постоянно скудном и постном питании, – нет, вряд ли такое возможно); в общем, я должен признаться, что и теперь, когда Кобб за моей спиной шатко брел по сухому хру-

стящему бурьяну, меня вновь обдало волной удовольствия. *(Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье...)* Да-да, явственный холодок удовольствия пробежал у меня по спине. Я думал, он пройдет мимо нас в мастерскую или, может быть, в дом. Как ни странно, вместо этого Кобб остановился рядом с нами, чуть не наступив сапогом на одну из кроличьих тушек. Вновь мы с Харком начали было вставать, и вновь он замахал на нас, чтобы мы продолжали работу.

– Прол-лжайте, прол-лжайте, – несколько раз повторил он, сделав щедрый глоток из бутылки. Я услышал, как виски с лягушачьим кваканьем пробежало у него по пищеводу, затем последовал долгий судорожный вдох и, наконец, причмокивание губами. – Ам-бы-роо-зия, – подытожил он. Его голос над нами звучал самоуверенно, мощно, зычно; в нем неоспоримо присутствовала решительность и сила, даже при том, что усталый призыв печали никуда не девался, и я почувствовал, как во мне подспудно, едва заметно шевельнулось нечто, чему я могу подыскать лишь одно постыдное название: страх – страх прирожденный и внедренный воспитанием. – Ам-бы-роо-зия, – вновь прорычал он.

Страх отступил. Принюхиваясь, подкатилась рыжая дворняжка, и я швырнул ей горсть скользкой синеватой кроличьей требухи, которую она, порывая от удовольствия, унесла на полосу хлопчатника.

– Греческое, кстати, слово, – заговорил опять Кобб. – От *амбротос*, что значит бессмертный. Потому что боги, конечно же, наделили нас, бедных человеков, некоторым, пусть кратким и иллюзорным, бессмертием, когда принесли нам сей сладостный дар, полученный из скромных плодов вездесущей яблони. Утешающий одиноких и отверженных, утоляющий боль, укрывающий от хладного дыхания неминуемой, безжалостной смерти, сей эликсир не может не носить на себе отпечатка длани чего-то или кого-то божественного! – И вновь икота – то есть даже какой-то вопль, нечто поистине чудовищное – потрясла все его тело, и снова я услышал, как он присосался к бутылке. Сосредоточившись на кроликах, взгляд я не поднимал, но краем глаза посмотрел на Харка: пораженно, растопырив перемазанные кровью, поблескивающие пальцы, он открыл рот и уставился на Кобба с видом простертого ниц невежды, который с глубочайшим интересом и священным трепетом пытается внимать гласу свыше; силясь хоть что-нибудь понять, он беззвучно шевелил губами вслед за Коббом, прикусывал роскошные слова как яблоки, и капельки пота шариками ртути выступили на его черном лбу; клянусь, он даже дышать на время почти перестал. – А-ах, – протянул Кобб, чмокнув губами, – чистое наслаждение. Ну разве не удивительно, что к своим уже признанным талантам – все-таки он лучший колесник всего юго-запада Виргинии – ваш хозяин, мистер Джозеф Тревис, присовокупил еще один, наиверховнейший, став самым виртуозным

дистиллятором этого несказанно сладостного зелья на сотню миль вокруг? Вы не находите это удивительным? Вы не находите. – Он смолк. Потом повторил еще раз, с какой-то новой, двусмысленной интонацией, голосом, в котором, казалось (мне по крайней мере показалось), прозвучала угроза. – Вот ты, ты *не находишь*?

Мне стало как-то неудобно, не по себе. Возможно, я, как всегда, с излишней подозрительностью подошел к странной перемене интонации белого человека; тем не менее в этом вопросе мне послышалось что-то ехидное, тягостное, злобно-новатое, и я встревожился. Я привык к тому, что если белый незнакомец сперва с тобой фамильярничает, потом начинает говорить вычурным, витиеватым слогом, а ты при этом негр – осторожно! белый наверняка желает на твой счет поразвлечься. А я последние месяцы пребывал в таком всевозрастающем напряжении, что должен был любой ценой избегать малейшего намека на то, чтобы *влипнуть в историю* (ведь предварительное топтание вокруг да около может на первый взгляд казаться совершенно невинным). И теперь этот мерзкий вопрос белого дядьки мордой об стол ткнул меня в необходимость выбора. Проблема такая: негр примерно так же, как и собака, должен понимать *интонацию*. Если – что вполне вероятно – вопрос всего-навсего пьяно-риторический, тогда можно скромно и благовоспитанно промолчать, ковыряясь в кролике. Такая возможность (все так просто? или не совсем? мысли в голове крутятся, вертятся, что твоя мель-

ница), по мне, была бы, конечно, предпочтительней: тупой, бессловесный ниггер, с него и взятки гладки; для полноты картины хорошо немного почесать в курчавом черного дерева затылке и, идиотически отвесив толстую розовую губу, изобразить полное непонимание множества звучных латинизмов. Если же – что более вероятно, судя по нависающей паузе, – вопрос, наоборот, был пьяно-грубо-саркастическим и на него требуется ответить, придется что-то бормотать, поскольку обычное «да, сэр – нет, сэр» при столь каверзной его постановке неприемлемо. Больше всего я опасался (и не беспочвенно, смею заверить, вполне справедливо опасался), что, скажи я «да, сэр», он может выдать мне что-нибудь в таком роде: «Ага, находишь. Ты *находишь* это удивительным? Надо ли понимать это так, что ты считаешь своего хозяина болваном? По-твоему, если он может делать колеса, он не может гнать виски? Не очень-то вы, черномазые, уважаете нынче своих хозяев, я правильно понял? Ну так вот что я тебе скажу, Помпей, или как там твое дурацкое имя, слушай...» и так далее. Вариантов тут масса, и не думайте, что я чересчур осторожен: немотивированное шпыняние негров – спорт распространенный. Но дело тут не в том, что я стремился избежать возможного унижения, а в том, что недавно я сам себе поклялся никогда больше не допускать над собой ничего подобного, а значит, загнанный в угол, я буду вынужден идти до конца и вышибу этому дядьке мозги, тем самым полностью нарушив все великие планы на

будущее.

Меня начало трясти, в глазах потемнело, и в животе образовалась какая-то водянистая пустота, но тут, однако, подоспело счастливое избавление: с опушки ближнего леса донесся треск кустов, и обращенным туда нашим взорам предстала выломившаяся из подлеска бурая, забрызганная грязью дикая свинья; она хрюкала, фыркала, вдогонку за ней бежал ее визжащий выводок, но столь же быстро, как возникли, они исчезли, будто растворились в облетевшей, оголившейся чаще, и вновь простор седых и безутешных небес стал безмолвным, оживляясь только движением низких рваных облаков, гонимых ветром подобно грязным комьям хлопка, сквозь которые еле-еле просвечивало слабенькое, желтоватое солнце. В ошеломлении все трое какое-то время продолжали смотреть в сторону леса, и тут совсем рядом – бабах! – дверь мастерской резко распахнулась и, провернувшись под напором ветра на скрипучих петлях, грохнула наружной стороной об стену.

– Харк! – раздался требовательный голос. То был мой младший владелец, Патнем. – Ты где, Харк?

Мальчишка был не в духе – об этом я мог судить по прыщам на его бледной даже для белого физиономии: они краснели и набухали всякий раз, когда он волновался или пребывал не в настроении. Стоит добавить, что Патнем таил зло на Харка еще с прошлого года, когда, отправившись в один действительно прекрасный денек за орехами гикори, Харк, хоть

и ненароком, но довольно неуклюже нарвался на Патнема и Джоэла Вестбука, находящихся в замысловатом плотском единении у пруда, где они возились и резвились в береговой грязи, бесстыжие и нагие, как лягушата.

– Никогда не видал большей глупости, – рассказывал мне потом Харк. – Но мне-то что, не хватало еще внимание обращать. Негра глупости белых мальчишек не касаются. А теперь этот дурень Патнем возьми да и озлись, как будто это меня они застукали, будто это я петушка там дрочил.

Я сочувствовал Харку, но в конце концов всерьез тут и говорить не о чем, поскольку картина это типичная и никакому исправлению не поддается: когда негр занимается личными делами, белые его в упор не видят, а вот если негр заметит, что там такое делают белые, – а ему подчас приходится на мили уклоняться от своего пути, чтобы не замечать, – да еще не дай Бог по простодушию обнаружит неистребимое свое присутствие, взбучку получит тут же: он якобы шпионит, сует нос не в свое дело, да и вообще выискался тут обалдуй черноухий!

– Харк! – не унимался юнец. – Ну-ка подь сюда быстро! Долго ты там собираешься болтаться, ниггер никчемный? Огонь-то упустили в горне! Давай мигом сюда, черт тебя, лентяя, подери совсем!

На мальчишке был кожаный фартук; сердитое, грубо вытесанное лицо с обиженно надутыми губами обрамляли прямые темные волосы и длинные бакенбарды; слыша, как он

орет на Харка, я в мимолетном приливе ярости лишний раз пожелал, чтобы скорей наступил день, когда я наконец доберусь до него. Харк вскочил на ноги и поспешил в мастерскую, а Патнем заорал снова, на этот раз обращаясь к Коббу:

– Судья, по-моему, у вас там полуось сломалась, сэр! Отчим ее разом починит! Скоро уже он приедет!

– Очень хорошо! – в ответ выкрикнул Кобб. И переключившись так внезапно, что я было подумал, будто он все еще разговаривает с хозяйским пасынком, он заговорил вновь:

– *Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою.* Цитата ужасно знакомая, конечно, но, разрази меня гром, нипочем не вспомнить, из какого это места Библии. Впрочем, похоже на Книгу Притчей царя Соломона: у него это любимое занятие было – бранить глупцов и бичевать людские пороки.

Он продолжал бубнить, а мне стало тошно: обычный порядок вещей перевернулся, на сей раз белый застиг негра, да притом еще за *обсуждением!* Но откуда ж я знал, что трепливый мой язык подведет меня, что белый подслушает все мои речи дословно? Опозоренный, пристыженный, я даже выпустил липкий кроличий трупик, который держал в руке, и скрепя сердце приготовился к худшему.

– А не Соломон ли сказал также, что глупый будет рабом мудрого? И не он ли говорил, что глупый пренебрегает наставлением отца своего? А слова, сказанные евреем из Тарса Савлом и известные каждому дураку в нашем Старом Доми-

нионе⁴, не суть ли они наставление Отца Небесного, а именно: *Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства!*

Пока судья Кобб говорил, я потихоньку выпрямился, но даже когда встал во весь рост, он возвышался надо мной – бледный, нездоровый, потный; на холоде у него слегка текло из носа, торчащего, как кривой ятаган; лицо искажала боль и неистовство, бутылку виски он сжимал в огромном, прижатом к груди веснушчатом кулаке; стоял, отставив хроющую ногу, потел и покачивался, и говорил не столько мне, сколько сквозь меня, мимо меня, обращаясь куда-то в гонимую ветром рваную мешанину туч.

– Да, но на это мы получаем ответ, на эту великую и очевидную истину нам отвечают... – Он секунду помедлил, икнул и продолжил уже насмешливо: – На этот непреложный и обязывающий эдикт что же в ответ мы слышим? Из такой цитадели разума, как Колледж Вильгельма и Марии⁵, мы слышим лишь вяканье фарисеев, да и правительство в Ричмонде, как мухами обсиженное ученым жульем, этими шарлатанами в судейских мантиях, только и отвечает: «Богословие оставьте богословам! Что-что? Свобода, говорите? Иго рабства? А ну-ка ты, сельский судья, ответь-ка вот на что – как насчет Послания к ефесянам, шесть-дробь-пять: *Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в*

⁴ Неофициальное название штата Виргиния.

⁵ Государственный университет в Уильямсбурге (Виргиния).

простоте сердца вашего, аки Христу. Или вот тебе, коллега ты мой лубяной и соломенный, что на это скажешь? Первое – Петра, два, восемнадцать: *Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.* Что, съел, любезнейший? – вот она, *впрямую*, божественная ратификация рабства, а ты тут нам разводишь детский лепет! Отче наш, иже еси на небесех, да неужто же такая казуистика пребудет вечно! Не горят ли уже письма на стене? – Впервые, кажется, он посмотрел на меня, остановил на мне взгляд лихорадочно горящих глаз, прежде чем вновь воткнуть бутылку горлышком в глотку, куда опять устремился, булькая и клокоча, поток виски. – Рыдайте, – вдруг призвал он после этого, – *рыдайте; ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего.* А ведь ты Проповедник, тебя зовут Нат, правильно? Скажи мне тогда, Проповедник, я прав или нет? Разве не истину глаголет Исая, говоря: *рыдайте!* Когда возвещает, что день Господа близок и что грядет он как разрушительная сила от Всемогущего? Скажи честно и по правде, Проповедник: не начертаны ли письма на стенах возлюбленного и до прискорбия дурацкого Старого этого Доминиона?

– Слава Всевышнему, маса, – сказал я, – это истинная правда.

Хотя эти слова я произнес нарочито кротко и смиренно, особым пасторским, набожным тоном, но сказал я их только, чтобы что-то сказать, чтобы прикрыть ими внезапный

испуг. Потому что теперь я уже всерьез боялся, уж не насквозь ли он меня видит; предположение, что этот незнакомый пьяный белый дядька знает, кто я есть, вдарило меня будто кулаком между глаз. Для негра наидрагоценнейшее достояние – его бесцветный, бесформенный плащ анонимности, запахнув который можно смешаться с серой толпой, остаться безликим и безымянным; дерзость и дурное поведение по очевидным причинам не приветствуются, однако столь же недальновидно выказывать и необычайные добродетели, ибо, если качества низкие караются голодом, кнутом и цепями, то высокие могут привлечь к тебе столь недоброе любопытство и подозрительность, что в прах рассыплются мельчайшие осколки свободы, которой ты обладал дотопле. Хотя в общем-то слова слетали с его губ так торопливо и бурно, что я не успевал уследить, куда, собственно, ведут его построения, которые, впрочем, ощущал как весьма странные для белого господина; при этом я по-прежнему не мог отделаться от чувства, что он пытается подловить меня, заманить в ловушку, закидывает живца. Чтобы скрыть смятение и тревогу, я вновь пробормотал: «Ой, маса, истинная правда, сэр», идиотически хихикнул и потупился, слегка покачивая головой: стремился показать, мол, бедный негритосик осень-осень мало поймай, если вообще моя-твоя улавливай хотя бы что-то.

Но вот он чуть склонился, его лицо приблизилось к моему, вблизи оказавшись не красным и не опухшим от алко-

ля, каким я сперва ожидал его увидеть, а, наоборот, совершенно бескровным, белым, как сало, причем, когда я заставил себя глянуть странному дядьке в глаза, оно показалось мне еще белее.

– Ты передо мной дурака тут не разыгрывай, – сказал он. Враждебности в его тоне не было, и прозвучало это скорее просьбой, чем приказанием. – Твоя хозяйка мне тебя только что показала. Да я бы тебя и так узнал, различил между вами двоими. А другой-то негр, его как зовут?

– Харк, – сказал я. – Его зовут Харк, маса.

– Да. Я бы тебя и без того узнал. Узнал бы, если б даже не подслушал ненароком. «Белого жалеть что пузом на рожон переть». Ты ведь так сказал, верно?

Мурашки страха, давно знакомого, привычного и унижительного, пробежали по телу, и против собственной воли я отвел глаза и буркнул:

– Простите, что я сказал это, маса. Я ужас как извиняюсь. Я это не всерьез, сэр.

– Лабуда! – мгновенно выпалил он. – Ты извиняешься, что сказал, дескать, не надо жалеть белого человека? Да ладно тебе, ладно, Проповедник, ты же *сейчас* не всерьез. Ведь не всерьез же, верно? – Он помолчал, подождал, что я отвечу, но к этому моменту я был так подавлен ужасом и замешательством, что не смог выдать ни слова. Хуже того, за глупость и неспособность справиться с ситуацией я уже презирал себя и ненавидел. Стоял, кусал губы и, глядя в сто-

рону опушки леса, видел себя низвергнутым на дно – в толпу презренных доходяг на хлопковой плантации.

– Ты передо мной тут брось дурака разыгрывать, – повторил он тоном почти что ласковым, даже каким-то вкрадчивым, что ли. – Молва-то, она ведь как? Впереди на крыльях летит. Уже несколько лет назад мое внимание привлек удивительный слух о редкостном чернокожем, который, переходя в окрестностях Кроскизов от одного хозяина к другому, настолько превзошел бедственное состояние, в которое повержен судьбою, что – *mirabile dictu*⁶ – научился бегло читать по заказу любую книгу, даже заумные научные труды, может под диктовку уверенно писать страницу за страницей и так продвинулся в вычислениях, что усвоил даже начала элементарной алгебры, а уж какого он понимания Священного Писания достиг, это вообще чудо: те немногие из ученых теологов, кто экзаменовал его по Закону Божьему, долго потом качали головами в изумлении от его потрясающей эрудиции. – Он помолчал и рыгнул. Переведя взгляд вновь на него, я увидел, что он вытирает рукавом рот. – Ох, слухи, слухи! – сразу же заговорил он снова. Голос его теперь возвысился до взволнованного речитатива, округлившись глаза пылали одержимостью. – Поразительный слух дошел до нас из глухих лесов доброй старой Виргинии! Не менее поразительный, чем те слухи, что в древние времена проникали из глубин Азии, – будто бы где-то у истоков реки Инд (по-моему,

⁶ Удивительное дело (*лат.*).

там дело было) обитает популяция гигантских крыс шести футов ростом, которые весело танцуют джигу, подыгрывая себе на тамбурине, а если к ним кто приблизится, распускают невидимые крылья и улетают на верхушку ближайшей пальмы. Слух, в который поверить ну никак невозможно! Ибо поверить в то, что сия поверженная, попранная раса, законы бытия которой глубоко и бесповоротно ввергли ее во мрак невежества, что эта раса могла пусть даже и в единственном экземпляре породить грамотея, способного «корова» писать через «о», – все равно что человеку постороннему и непредвзятому пытаться внушить, будто бесноватый король Георг Третий⁷ был благоуханной розой, а не гнусным тираном или будто бы луна сделана из козьего сыра! – Витийствуя, он тыкал в меня пальцем, длинным и костлявым, с волосатыми фалангами; палец резкими выпадами чуть не впивался мне в нос, как голова атакующей гадюки. – Но главное-то, слушай, самое-то что... это представить только... этот *вундеркинд*, чудо природы, этот чернокожий *раб* – будь оно проклято, подлое, отвратительное слово! – приобрел основы не просто грамотности, нет, знания; он будто бы научился говорить без негритянского акцента, почти совсем как белый, образованный и воспитанный человек, в общем, короче, будто бы он, по-прежнему пребывая среди гнилых столпов сего града обреченного, превозмог свою незавидную участь и из

⁷ Георг Третий (1738–1820) – король Англии, один из вдохновителей колониальной политики и борьбы с восставшими североамериканскими колониями.

вещи сделался *личностью*, так что в совокупности все это лежит уже за гранью, вторгается в область, я бы сказал, наидичайших фантазий. Нет! Ум пасует, отказывается принимать столь гротескный образ! Скажи мне, Проповедник, как пишется *корова*? Давай же, докажи, что все это не розыгрыш, не шутка! – Он продолжал тыкать в меня пальцем, тоном говорил дружеским, упрасивал, уговаривал, а глаза пылали холодным огнем одержимости. Сладким облаком парил над ним запах яблочного самогона. – Ну давай же – «корова»! – не унимался он, – ну по буквам, ну давай – *корова*! Что, слабо?

Давно уже у меня появилось устойчивое ощущение, что это не издевка, нет, просто он вроде как пытается по-своему выразить дикие, нелепые, не укладывающиеся в голове людские воззрения. Я чувствовал, как кровь стучит у меня в висках, холодный пот страха и возмущения течет из подмышек.

– Не надо, маса, умоляю, не смейтесь надо мной, – шепотом выдохнул я. – Пожалуйста, маса. Не надо смеяться.

Время еле ползло, мы оба молчали, глядя друг на друга; вдалеке, в зараменье, ухал ноябрьский ветер, кружа гигантскими неверными шагами по сереющим пустошам, поросшим кипарисовым, кедровым и сосновым мелколесьем; в какой-то момент уступчивые губы, впусую пошамкав, уже складывались у меня в неуверенное «како», «он»... и такое тут нахлынуло горестное чувство – и детская в нем беспомощность, и бесполезность, тщетность всего и вся, и пожиз-

ненная черномазая отверженность, а вместе – прямо дух захватило от боли. Стоял весь мокрый на порывистом ветру и думал: «Вот, стало быть, как получается. Даже когда они о тебе думают, даже если они вроде бы на твоей стороне, они не могут не дразнить, не мучить». Ладони у меня сделались липкими, в мозгу ревели и рычала одна лишь мысль: «Я не хочу этого, но если он сейчас будет заставляя меня производить «корова» по буквам, мне придется убить его». Я снова опустил глаза и сказал как можно отчетливее:

– Не смейтесь надо мной, маса. Пожалуйста.

Но тут Кобб, в самогонном своем дурмане, похоже, забыл, что сказал мне, и повернулся прочь, устремив бешеный взгляд к опушке, к лесу, где ветер по-прежнему гнул и трепал верхушки дальних деревьев. Отчаянно прижатая к его груди бутылка наклонилась, и струйка виски потекла по плащу. Другой рукой он принялся массировать бедро, с такой силой сжимая себе ногу, что побелела кожа на костяшках пальцев.

– Господь всемогущий, – простонал он, – ну и зануда эта непрестанная боль! *Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжение всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много.* Боже, Боже, бедная моя Виргиния, выжженная земля! Почва загублена, убита, в бесплодную пыль превратила ее гнусная индейская зараза куда ни глянь. А – всё! уже и табак не вырастишь, разве что здесь, в немногих южных округах, да и то едва на по-

нюшку, не говоря о хлопке, а уж овес, ячмень, пшеницу – какое там! Пустыня! Когда-то девственные, дородные пажити, потом чадолюбивая нива, мать-земля, подобия которой мир не видывал, и – нате вам! – за один век превращена в ссохшуюся, тощую ведьму. И все ради десятка миллионов англичан – чтоб ублажить их трубочкой отборного *виргинского*! Теперь и это в прошлом; все, что мы нынче можем вырастить, – это лошади. Ха! Лошади! – ораторствовал он словно сам с собой, оглаживая и растирая бедро. – Лошади, а еще что? Ну, еще-то *что*? Лошади и негритята! Негритосики! Младенцы черного цвета выводками, сотнями, тысячами, десятками тысяч! Был штат-блондин, красавец, самый лучший, мирный любезный край – и что теперь? Ясли, питомник для Миссисипи, Алабамы, Арканзаса. Чудовищная ферма по разведению быдла, без устали ублажающего ненасытимое чрево дьявольской машины Эли Уитни⁸, будь проклято имя мерзавца! До чего же изгубили мы в себе все, что было в нас пристойного, если справедливость и благородство свое отдаем на поругание блуднице, идолищу с позорным именем *Капитал*! О, Виргиния, горе постигло тебя! Горе, трижды горе, и черт бы побрал тот недоброй памяти день, когда черные бедолаги в цепях в первый раз ступили на твой священный берег!

Изо всех сил разминая рукой бедро и стеная теперь уже

⁸ Уитни, Эли (1765–1825) – американский изобретатель и промышленник. Изобрел первую хлопкоочистительную машину (1793).

от боли, он другой рукой поднял к губам бутылку и до капли ее осушил, похоже, забыв обо мне, а я, помнится, подумал, что очень было бы умно этак украдкой сбежать от него, смыться, вот только приличный предлог найти бы. Пока он говорил, во мне пронесся буйный вихрь разноречивых, перепутанных эмоций; за многие годы не слышал я, чтобы белый человек вел столь безумные речи, причем я был бы нечестен, кабы не признал, что от сказанного (или от какой-то хмельной подоплеки сказанного, исподволь озарившей мое сознание неким нереально-благодным светом) у меня побежали мурашки благоговения, а может, и чего-то иного, дальнего, смутного, что можно бы назвать и трепетом надежды. Но по причине, которую я не могу объяснить, и благоговение, и надежда разом отступили, потерялись, выродились, и скоро при виде Кобба я обонял уже лишь острый запах опасности – смертельной, неминуемой – и чувствовал к нему подозрение и недоверие – осязаемо, как никогда в жизни. Отчего так? Возможно, объяснить это нельзя ничем, кроме как промыслом Господа, которому все вещи ведомы. Скажу только то, без чего нельзя понять стержень, главное в безумном существовании негра: бей его, заставляй голодать, пусть он у тебя барахтается в собственном дерьме, он будет твой по гроб жизни. Подари ему предвкушение нежданного послабления, дай намек на возможность надежды, и ему тут же захочется перегрызть тебе глотку.

И опять, не успел я шевельнуть пальцем, сзади что-то

грохнуло – это снова отворилась дверь мастерской, широко распахнулась и, подхваченная силой ветра, саданула об стену. Когда мы обернулись, Харк уже выскочил и с вылезшей из штанов рубахой, очертя голову, со всех ног бросился от мастерской куда-то прочь, в поля, в сторону леса. Панически сверкая белками глаз и мелькая ногами, черный и могучий, он мчался безудержным галопом. В каких-то двух-трех ярдах позади, хлопая по ветру кожаным фартуком, неся Патнем, потрясал поленом и орал:

– Эй ты, Харк, ну-ка назад! А ну сюда иди, мать-бать, драть-хрять, паршивая скотина! Все равно до тебя доберусь, черномазое ублюдище!

Взбив пыль босыми черными пятками, быстрее лани Харк маханул через двор, и как только успел улизнуть от него амбарный кот! да гусак с подружками, издавая унылые трубные звуки, с тяжким хлопаньем лишних, к полету неприкладных крыльев, заковылял вперевалку прочь с дороги беглеца. А тот неся уже мимо нас, ни вправо, ни влево не глядя, с глазами круглыми и белыми, как куриные яйца, и только донеслось было пыхтенье *ах-ах-ах*, ан – глядь – он уже на опушке, одна нога здесь, другая там, быстрый и легкий, как сухой лист, сорванный ветром. Далеко позади, отставая с каждой секундой, бежал прыщеватый юнец, продолжая вопить:

– Стой, Харк! Стой, гадина черномазая! Стой, стой!

Но мощные Харковы ноги работали как шатуны паровой машины; оттолкнувшись, он парил в воздухе, летел гигант-

скими скачками, будто на крыльях или на лонже, гулко бил пяткой в землю и, не меняя ритма, удалялся все дальше к лесу, при каждом шаге на миг отсвечивая безупречной розовой ступней. И вдруг его как будто пушечным ядром сшибло: голова дернулась назад, все остальное, включая дрыгающие ноги, взлетело вверх и вперед, и он плашмя, с тупым и полым звуком хлопнулся навзничь как мешок, а случилось это прямо под натянутой на уровне горла бельевой веревкой – она-то и прервала его размашистый полет. Мы с Коббом все стояли и смотрели, а он потрянул башкой и стал с натугой подниматься на локтях, и тут мы увидели, что не один, а сразу два вихря, два равно вредоносных и опасных вектора с разных сторон сходятся к Харку: Патнем, по-прежнему с поленом в руке, и мисс Мария Поуп, взявшаяся словно из ниоткуда, будто жадный дух вражды и мщения, семенящей побегом старой девы устремилась к нему, путаясь в необъятной похоронно-черной бумазее. Она покрикивала, голос относил ветром, но даже в отголосках слышны были пронзительные нотки истерической злобы:

– А вот взденем тебя сейчас, ниггер! – наверное, кричала она. – А вот взденем!

– Ну, – себе под нос пробормотал Кобб, – что ж, проследим теперь за ритуальной забавой, весьма распространенной в этих южных широтах. Станем свидетелями того, как два человеческих существа выпорют третье.

– Нет, маса, – сказал я. – Маса Джо не велит бить своих

негров. Но всегда есть обходные пути, в чем вы сейчас и убедитесь. Мы станем свидетелями кое-чего иного.

– Ни крошки угля в мастерской! – плачущим голосом выкрикнул Патнем.

– И ни капли воды в ведре на кухне! – взвизгнула мисс Мария. Будто соперничая друг с другом, кто больше пострадал от Харковой преступной нерадивости, они обступили его, заслонили простертое тело, заклекотали над ним, как стержняники. Харк замедленно, неуверенно встал, помотал головой, не сразу придя в себя после встряски, обалделый и недоумевающий, словно бык на скотобойне, которому неумело, вскользь дали по лбу. – А вот теперь уж точно взденем тебя, бесстыжий черномазый наглец! – квохтала мисс Мария. – Патнем, лестницу!

– Больше всего Харк высоты страшится, – зачем-то взялся я за объяснение. – Ему это хуже сотни плетей, сэр.

– А какой образчик! – выдохнул Кобб. – Настоящий *гладиатор*, прямо черный Аполлон. И быстрый, как призовой скакун! Где твой хозяин только взял его?

– Да где-то там, в Сассексе, – сказал я, – что-нибудь десять-одиннадцать лет назад, маса. Когда с молотка пошла одна из старых плантаций. – Я помедлил, слегка дивясь своей готовности делиться с ним всем этим знанием. Потом продолжил: – Харк очень одинок теперь, тоскует. Растерян и одинок. По наружности вроде веселый, а в душе горюет. Отсюда и несобранность. Вот он и забывает, за чем послали, и

получает за это. Бедняга...

– А это они зачем, Проповедник? – насторожился Кобб.

Патнем уже выволоч из амбара лестницу, и перед нашим взором по двору, серому и бесприютному на зимних семи ветрах, двинулось шествие: впереди мисс Мария – мрачная, сцепила руки, прямая, будто аршин проглотив; сзади Патнем с лестницей, а между ними Харк в своей пыльной серой холстине плелся, шаркая и опустив голову в полном унынии, при этом он возвышался над ними обоими, как Голиаф – могучая громада меж двух торопливых, мстительных карликов. След в след и прямо, как по струнке, шли они к высоченному старому клену, давно облетевшая нижняя ветвь которого, как голая рука, тянулась поперек неба в двадцати футах над землей. Я слышал, как шуршит подошвами, нога за ногу тащится Харк – ни дать ни взять этакий нашаливший малыш.

– Что они делают? – снова спросил Кобб.

– Знаете, маса, тут дело вот в чем, – заговорил я в ответ. – Пару лет назад, еще до того как я поступил во владение к маса Джо, ему пришлось почти всех своих негров продать. Куда-то их туда, на Миссисипи увели, там – ну вы знаете, – хлопок всюду выращивают. Харк говорит, что маса Джо переживал из-за этого, но ему просто больше ничего не оставалось. Ну и среди тех негров были жена Харка и его ребенок, маленький мальчик – лет трех-четыре он был. А Харк своего малыша любил просто сильнеею некуда.

– Н-да... Н-да... Н-да... – тихонько похмыкивая, вполго-

лоса повторял Кобб.

– Так что, когда лишился мальчика, Харк от горя чуть с ума не сошел, вообще думать ни о чем не мог.

– Н-да... Н-да... Н-да...

– Хотел убежать, пробираться за ними туда, на Миссисипи, да я отговорил его. Дело-то в чем: он ведь однажды убегал уже, несколько лет назад, и никуда не добрался. Кроме того, я считаю, да и всегда считал, что негр, пока может, должен следовать всем правилам и порядкам.

– Н-да... Н-да... Н-да...

– В общем, – продолжал я, – с тех пор Харк так до конца и не оправился. Могут сказать: да ну, он просто нерадивый! Поэтому он и делает такие вещи – или каких-то вещей не делает, – и поэтому бывает наказан. Сказать по правде, маса, он действительно – бывает, что не выполняет свою работу, но это происходит совершенно помимо его собственной воли.

– Н-да... Н-да... – бормотал Кобб. – Н-да... Боже ты мой, совершенно логический результат... *полный кошмар!* – Тут его вновь одолела икота, он дергался и временами при этом вскрикивал, будто сотрясаемый рыданиями. Хотел сказать что-то еще, да передумал, отвернулся, все повторяя: – Боже мой, Боже мой, Боже мой...

– Да, насчет них-то... – вернулся я к прежней теме. – Я сказал уже: больше всего Харк страшится высоких мест. Прошлой весной потекла крыша, и маса Джо послал Харка и меня чинить ее. Харк долез до середины лестницы и там

застрял. Принялся хныкать, бормотать что-то себе под нос – и ни дюйма дальше. Пришлось мне чинить крышу одному. А маса Патнем и мисс Мария застукали Харка на этом страхе – можно сказать, выznали его слабое место. Я говорил уже: маса Джо не потерпит, чтоб кто-нибудь плохо обращался с его неграми, чтобы их били или там еще что. Так что, когда маса Джо в отлучке и маса Патнем с мисс Марией считают, что им это сойдет, – ну они тогда загоняют Харка на дерево.

Что они как раз и проделывали прямо на наших глазах, покрикивали, но голоса их слышались глухо, отдаленно, слов было не разобрать из-за порывов ветра. Патнем прислонил длинную лестницу к стволу дерева и яростно махнул рукой наверх, видимо, показывая Харку, куда его посылают. И Харк полез – неохотно, неуверенно, на третьей ступеньке обернулся с испуганным, умоляющим видом, как будто чтобы посмотреть – вдруг они передумали, сжалились, но на сей раз замахала руками мисс Мария: *лезь, ниггер, лезь*, и снова Харк зашевелился, пополз, и даже штаны не мешали видеть, как подламываются у него колени. Добравшись наконец до нижней ветви, Харк перевалился с лестницы на нее, обхватив дерево так крепко, что мне даже издали было видно, как вздулись у него на руках вены; потом каким-то вороватым, скольльзящим движением он переместил зад в развилку между веткой и стволом и уселся там, обхватив дерево и зажмурившись, – ох, тошненько: ветер воет, и до земли высота ярдов шесть с половиной! А Патнем убрал лестницу и положил ее

наземь под деревом.

– Пять, десять минут, маса, – пояснил я Коббу, – и бедняга Харк примется плакать и стенать. Вот увидите. А чуть погода качаться начнет. Будет плакать, стенать и качаться на этой ветке, как будто он вот-вот упадет. Тогда маса Патнем с мисс Марией опять поставят к дереву лестницу, и Харк слезет. Надо думать, они сами боятся, как бы Харк не свалился и не сломал себе шею, им этого не надо вовсе. Нет, они только хотят старину Харка немного помучить.

– Н-да... Н-да... Н-да, – бормотал Кобб, но как-то уже отстраненно.

– А для Харка это и впрямь мучение, – сказал я.

– Н-да... Н-да... Н-да, – не очень разнообразно отзывался Кобб. Я уже и не знал, слушает он меня или нет, но неожиданно он вновь обрел дар речи: – Боже ты мой! Подчас я думаю... временами... такая жизнь, *ведь это как в кошмарном сне!*

Тут вдруг, не говоря ни слова, Кобб повернулся, ссутулился от ветра, треплющего плащ, и, неловко заноса тощую хромую ногу, двинулся к дому; при этом он все еще сжимал в руке пустую тару из-под самогона. Я снова сел на корточки к своим кроликам, глядя, как Кобб, хромая и пошатываясь, пересекает двор, идет через веранду, потом раздался его слабый и усталый голос: «Хэл-ло, мисс Тревис, я вот подумал, зайду все ж таки, посижу чуток!» Затем сразу голос мисс Сары, веселый и бодрый, удар захлопнувшейся двери – и Кобб

исчез. Я содрал с кролика белую полупрозрачную внутреннюю кожицу, отслаивая от розоватого мяса, окунул тушку в холодную воду и почувствовал, как мокрые внутренности ползут и скользко извиваются у меня меж пальцев.

От крови вода порозовела. Порывы ветра проносились по полосе хлопчатника, там посвистывало; мертвые, высохшие листья во множестве проносились мимо угла амбара, скреблись и шуршали на дорожках двора. Я глядел в кровавую воду, думал о Коббе. *Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, вздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак... Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на коем знак...*

Внезапно я поймал себя на такой мысли: «Ясно, ну конечно же, это ясно. Когда я преуспею в моей великой миссии и Иерусалим падет, этот человек по фамилии Кобб будет среди тех немногих, кого пощадит меч...»

В лесу ветер шумел верхушками деревьев, свистел в них, залиvisto ухал, отзываясь в дальних лощинах звуком тупым, похожим на чьи-то шаги. Серые с проблесками, взвихренные, тяжеловесные тучи мчались по низкому небу на восток, становясь все темнее в сгущающихся сумерках. Чуть спустя я услышал, как Харк завел свой полный страха, тихий, безутешный, бессловесный плач. Минуту за минутой он подвывал, качаясь высоко на дереве. Потом *тук-тук* – к дереву приставили лестницу, и он слез.

Интересно, что иногда наши самые яркие, правдоподобные сны снятся нам в тот момент, когда мы в полудреме, причем время они занимают совсем короткое. Сегодня в зале суда, задремав на какие-то секунды за дубовым столом, к которому меня приковали куском цепи, я увидел сон, и он напугал меня. Как будто иду это я ночью один краем болота, вокруг меня свет, мерцающий, тусклый, с таким еще зеленоватым оттенком, как бывает летом перед грозой. Воздух не шелохнется, безветрие, но далеко в вышине за болотом гремит и перекатывается гром, и после промежутка тьмы вспыхивают зарницы. Охваченный паническим страхом, я вроде как ищу свою Библию, которую неизвестно зачем и почему оставил где-то там, в темной пустоши, на болоте; в страхе и отчаянии, невзирая на наступление ночи, я продолжаю поиски, иду все дальше и дальше среди мрачных топей, и меня преследуют зловещие грозовые отсветы и дальний демонический хохот грома. Как я ни силюсь, как ни стараюсь, мне все не найти мою Библию. Вдруг моих ушей достигает совсем другой звук – на сей раз испуганные голоса, вскрики. Голоса мальчишеские – ломкие, почти уже взрослые, в них звучит ужас, и тут я вдруг вижу их: с полдюжины черных подростков по шеи завязли в бочажине, они громко кричат, зовут на помощь, в тусклых отсветах видно, как они судорожно дергают руками, уходя все глубже и глубже в трясины. А я будто бы беспомощно стою на краю топи не в силах ни

сдвинуться, ни слова сказать, и пока я так стою, с неба раздаётся голос, возникая как бы из раскатов грома: *Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу; глаза твои будут видеть и всякий день иставать о них... и сойдеши с ума от того, что будут видеть глаза твои. ...* С криками смертного ужаса черные руки и лица погружались в жижу, на моих глазах подростки стали исчезать один за другим, и рев чудовищной вины оглушил меня, как удар грома...

– Подсудимый, ну-ка...

Резкий удар судейского молотка прервал этот ужас, и я толчком проснулся.

– Позвольте мне с разрешения суда... – говорил какой-то голос, – ...но ведь это вопиюще, возмутительно! Такое поведение *до крайности возмутительно!*

Вновь грохнул молоток судьи.

– Подсудимый предупрежден, что спать нельзя, – сказал другой голос. На сей раз голос оказался знакомым – то был Джеремия Кобб.

– С позволения суда хочу отметить, – вновь начал первый голос, – что налицо вопиющее неуважение к суду: прямо на глазах уважаемой коллегии подсудимый засыпает! Если даже это и правда, что ниггер не может не спать дольше, чем...

– Подсудимый должным образом предупрежден, мистер Тревезант, – сказал Кобб. – Можете продолжить оглашение показаний.

Человек, который вслух зачитывал мое признание, сделал паузу и, обернувшись, уставился на меня, явно наслаждаясь и паузой, и своим испепеляющим взором, и всем происходящим. Его лицо было исполнено ненависти и отвращения. Я встретил его взгляд не дрогнув, но и отношения к нему никакого не выказав. Одутловатый, с бычьей шеей и узенькими глазками, он вновь приподнял со стола бумаги и, напряжив толстые ляжки, напористо подался вперед, ткнув воздух узловатым пальцем.

– «Вышеупомянутая леди побежала и удалилась на некоторое расстояние от дома, – читал он, – но ее преследовали, догнали и принудили идти за одним из членов группы, который привел ее в дом, где ей показали изуродованное тело ее мужа, затем велели лечь рядом с ним и застрелили. Затем я отправился к дому мистера Джекоба Уильямса...»

Дальше я слушать не стал.

В битком набитом зале сидело человек двести, все по-праздничному принаряженные – женщины в шелковых капорах и шالях с кистями, мужчины в черных деловых сюртуках и мягких кожаных штиблетах; суровые, хмурые, они помаргивали, скрывая слезы, теснясь на скамьях с прямыми спинками, словно собравшиеся стаей молчаливые, внимательные совы, и душная, влажная тишина нарушалась только когда кто-то чихнет или раздастся придушенный трескучий кашель. В безмолвии дышала и потрескивала круглая железная печь, наполняя воздух запахом горящего кедра. В

помещении становилось жарко, душно, пар оседал на стеклах окон, делал мутными фигуры все еще толпящихся снаружи людей, размывал очертания оставленных у коновязи бричек и легких двуколок «багги», скрадывал ломаный абрис чахлого соснового лесочка невдалеке. Где-то в задних рядах всхлипывала женщина – тихо, но горестно и уже с каким-то надрывом, с тем особым повторяющимся злым призывком, что предвещает истерику. Кто-то пытался унять ее – какое там, всхлипывание продолжалось, безутешное, ритмичное, непрерывное.

Уже много лет у меня была привычка, оказавшись в положении, когда время тянется удручающе медленно, молиться, и часто не затем, чтобы просить Господа о какой-нибудь определенной милости (я давно понял, что в ответ на такое множество докучных прошений Ему остается лишь хмуриться), а просто от настоятельной необходимости общаться с Ним, поддерживать в себе уверенность, что не отошел я слишком далеко, не забрел туда, откуда мой голос уже не слышен. Псалмы Давида я знаю наизусть почти все, и каждый день я по многу раз, бывало, останавливался посреди работы и полушепотом читал какой-нибудь псалом, поскольку знал, что, поступая так, я не надоедаю, не пристаю к Нему, но славлю имя Его, прибавляя свой голос к хору возносящих Ему хвалу. Но вновь – и без того изнывая в зале суда под неумолчный шорох и шевеление сидящих на скамьях людей, под их перханье, кашель и постоянное всхлипывание той

женщины, из-за которой все повышался и повышался градус истерии, – вновь холодным, сокрушительным приливом боли я ощутил ту же отъединенность от Господа, богооставленность, что пронзила меня ранним утром, да и прежде посещала несчетное число раз за последние дни. Я попробовал читать про себя псалом, но его слова звучали во мне плоско, безобразно и бессмысленно. Ощущение отсутствия Бога во мне было подобно глубокому, устрашающему внутреннему безмолвию. Увы, не одно лишь Его отсутствие было причиной моего отчаяния – само по себе отсутствие я бы, возможно, способен был перетерпеть, но нет, я чувствовал себя отринутым, отвергнутым, как будто Он навеки повернулся ко мне спиной, исчез, предоставив мне впустую бормотать молитвы, просьбы и хвалебные псалмы, – впустую, потому что им теперь не возноситься к небу, теперь они будут падать, рваные, скомканные и бессмысленные, в глубины какой-то грязной темной ямы. Тут меня опять охватила почти непереносимая, ошеломительная усталость и к тому же сонливость от голода, но я заставлял себя держать глаза открытыми, устремив дремотный взгляд через зал на Грея, – тот все еще что-то писал, пользуясь своим писчим ларцом, и лишь изредка прерывался, чтобы с кратким бряком стрельнуть струей табачного сока в стоящую у его ног латунную плевательницу. Неподалеку в толпе какой-то остролицый мужчина ужасно расчихался, чихал снова и снова и при каждом оглушительном чихе извергал носом целое об-

лако тумана. Я вернулся мыслями к своей богооставленности. Поймал себя на том, что повторяю за Иовом: *О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы...*

И тут внезапно, впервые за все годы сколько себя помню, я испугался – ощутил то щекотание мурашек по лопаткам и плечам, что означает обычно озноб и простуду (а еще шею пощипывает, будто кто легонько ледяными пальцами ее коснулся), – и понял, что такое страх смерти. Ничего ужасного, никакой паники, просто нечто вроде предчувствия, причем довольно слабенького, вроде задышливого ощущения неудобства и стесненности, как бывает, когда ждешь, поев подпорченной свинины, появления рези в желудке и поноса, потливости и судорожных схваток. Причем эта внезапная боязнь, это мимолетное, неуверенное чувство, скорее похожее на легкую обеспокоенность, чем на страх, каким-то образом имело меньше касательства к самой смерти, то есть к тому, что вскоре мне придется умереть, нежели к моей неспособности молиться или вступить в любое другое общение с Богом. Я это не к тому, что из-за боязни умирать мне хотелось о чем-то просить Господа; скорее, провал моих попыток молиться как раз и вызвал во мне назойливое предощущение смерти. Я чувствовал, как катится у меня по лбу, оставляя за собой извилистый влажный след, червем проползает струйка пота.

Что ж, сколько я мог судить об этом, тот, кого звали Тревезант, приближался уже к концу моего признания: темп чтения стал медленнее, а голос поднялся выше, приобретая тон драматической окончательности:

– «...Я сразу покинул убежище, бежал, но за мною почти непрерывно гнались по пятам, пока, спустя две недели, мистер Бенджамин Фиппс не задержал меня, когда я сидел в норе, которую, намереваясь спрятаться, вырыл под кроной упавшего дерева. Когда мистер Фиппс обнаружил меня в моем новом убежище, он наставил ружье и взвел курок. Я попросил его не стрелять, сказал, что я сдаюсь, на что он ответил требованием сдать шпагу. Я подчинился, отдал ее. За тот период, что за мной гонялись, много раз я ускользал буквально из-под носа, о чем, дорожа вашим временем, рассказывать не стану. Находясь здесь, в оковах, я вручаю себя той судьбе, каковая мне уготована...»

Тревезант дал листу бумаги выскользнуть из пальцев и пасть на стол перед ним, затем всем телом повернулся к шестерым членам коллегии, сидевшим за длинным столом, и заговорил торопливо, без остановок, причем неожиданно спокойным тоном, но почти без перехода, так что казалось, будто он все еще читает мое признание:

– С позволения достопочтенного суда, народ штата заканчивает предоставление доказательств по делу. Все вышеизложенное является очевидным и говорит само за себя. Считаю совершенно неуместным толочь воду в ступе, когда су-

шествует такой документ, и в каждой его фразе сквозь кровь и ужас просвечивает облик сидящего здесь подсудимого – облик ни с кем и ни с чем не сравнимого изверга, выроodka и исчадия ада, массового убийцы, каковому никакого подобия доселе не было в христианском мире. Это не розыск истины, не восстановление ее в процессе следствия, это сама истина, ваша честь. Поднимите хроники всех времен, гм-гм, взгляните на темнейшие и мрачнейшие прецеденты человеческого зверства, и все будет напрасно: вам не удастся найти ничего, что сравнялось бы с таким злодейством. Гунн Аттила, получивший меткое прозвище Бич Божий, – тот, кто разграбил Рим и держал в плену самого папу; китайский хан по прозвищу Чингис, опустошивший во главе своих монгольских орд великие империи Востока; пресловутый генерал Росс, слишком хорошо известный присутствующим здесь людям старшего поколения, – тот злобный англичанин, что во время войны 1812 года разрушил нашу столицу, город Вашингтон в округе Колумбия; все они аспиды в человеческом облике, и все же нет среди них такого, кто не возвышался бы столпом добродетели и чистоты рядом с чудовищем, сидящим сегодня здесь, в этом судебном зале...

Сравнение с великими, имена которых колоколами отзывались в памяти, весьма меня позабавило, внутри себя я дико хохотал, когда это глуповатого вида толстошее диво ничтоже сумняшеся поместило меня прямо на страницы учебника истории. Он снова повернулся и вперил в меня острень-

кие глазки, так и брызжущие презрением и ненавистью.

– Да-да, ваша честь, гм-гм... Достопочтенная коллегия, эти люди, сколь бы ужасны ни были их деяния, все-таки имели в себе некоторое великодушие. Даже *их собственные* мстительные и бесчеловечные обычаи требовали щадить жизни малолетних и беспомощных, старых и беззащитных, требовали проявлять жалость к слабому. Даже *их собственные* железные правила оставляли в них на йоту понимания и милосердия, и какими бы подчас бессмысленно жестокими они ни были, в них все же теплились искры добродетели, понуждавшие их то и дело воздерживаться, не проливать кровь беззащитных и безвинных, младенцев и так далее. Ваша честь, достопочтенная коллегия, могу сказать лишь – и буду краток, поскольку рассмотрение данного дела не требует изощренности доказательств, – что у сидящего здесь подсудимого в отличие от его кровавых предшественников нет такой соломинки, за которую можно было бы ухватиться, нет смягчающих вину обстоятельств – при всем нашем стремлении к милосердию и жалости. Никакое сочувствие, никакая память о проявленной к нему в прошлом доброте, ласке или отеческой заботе не удерживала его от совершения черных деяний. Нежная невинность и старческая немощь – то и другое не раз пало жертвой его невообразимой жажды крови. Он враг рода человеческого, причем сам это признает, – и вот его дьявольские деяния предстали перед нами во всех ужасающих подробностях. Ваша честь! Достопочтенная кол-

легия! Именем народа я требую незамедлительного возмездия! Его надо как можно быстрее подвергнуть высшей мере наказания, чтобы его разложившаяся, омерзительная плоть не смердела в ноздри возмущенного человечества!.. Народ штата изложил доводы обвинения.

Он закончил. Вдруг я заметил, что у него глаза полны слез. Как же нелегко ему все это удалось!

Утирая глаза тыльной стороной ладони, Тревезант сел у потрескивающей печи; особо шумной реакции в зале не последовало, лишь приглушенное бормотание и шарканье ног да новый всплеск перхання и кашля, сквозь который одиноко прорывались истерические женские всхлипывания, звучащие все сильнее, вырастая в негромкий сдавленный вой. Через зал я видел, как Грей, заслонясь ладонью, что-то нашептывает мертвенно-бледному человеку в черном сюртуке, потом быстро встает и обращается к суду. Я сразу же без всякого возмущения отметил, что заговорил он языком и тоном, которые не растрчивал на черномазого проповедника, – видимо, приберегал для выступлений.

– Достопочтенные судьи, – заговорил Грей, – мистер Паркер и я, выступая как адвокаты защиты, хотели бы поблагодарить коллегу мистера Тревезанта за его убедительное и артистичное чтение признания нашего подзащитного, а также за блестящие выводы. Мы всей душой согласны с ним и предоставляем дело суду без дискуссии. – Он выдержал паузу, бросил на меня безучастный взгляд, затем продолжил: –

Однако одну или две частности, если ваша честь позволит, я отмечу и тоже постараюсь быть кратким, полностью соглашаясь с компетентным суждением коллеги, что данное дело не нуждается в *изощренных доказательствах*. Как нельзя более уместная формулировка! Мне бы хотелось без обиняков, прямо заявить, что эти частности мы с мистером Паркером предоставляем суду не для прений и не для того, чтобы изыскать смягчающие вину подзащитного обстоятельства, либо облегчить кару, ибо, по нашему мнению, он, во всяком случае, так же черен – прошу извинить меня за невольный каламбур! – как обрисовал его мистер Тревезант. Однако, если коллегия ставит своей целью применение правосудия ко всем соучастникам преступления соразмерно, то есть ряд проблем, которые также должны подвергнуться исследованию в духе истины. Ибо сей ужасающий инцидент поднял серьезные вопросы – вопросы, определяющие и значительные, и от ответов на них зависит безопасность, благосостояние и спокойствие каждого белого мужчины, женщины и ребенка везде, куда хватает глаз, и гораздо далее – да, в любом уголке и в любой глуши этого южного края, где белая и черная раса обитают в столь тесном соседстве. Несмотря на поимку и заключение в тюрьму нашего подзащитного, лишь малая часть этих вопросов рассмотрена и получила удовлетворяющее нас разрешение. Распространенное опасение – да нет, какое там, даже убеждение – состояло в том, что смута сия была событием не локальным, но частью более масштабной.

го, организованного заговора, охватившего своими щупальцами всю популяцию рабов повсеместно, и этот страх теперь развеян совершенно.

Пауза.

– Все же есть еще вопросы, и они волей-неволей продолжают нас беспокоить. Бунт подавлен. Безумцы, принимавшие в нем участие, быстро и справедливо наказаны, а их предводитель – недальновидный негодяй, сидящий перед нами в этом судебном зале, – вскоре последует за ними на виселицу. Тем не менее где-то в глубине души, в темных и укромных уголках сознания кое-кто из нас по сию пору прячет беспокоящие сомнения. Ведь, честно говоря, обнаженная реальность – и это факт! – заставляет нас признать, что казавшееся невозможным, что ни говори, совершилось: вполне пристойно содержавшиеся, жившие в чуткой заботе и внимании, эти негры вдруг превратились в банду фанатиков, восстали, что ни говори, и под покровом ночи перерезали тех самых людей, под чьим попечительством пребывали в довольстве и спокойствии, равных каковым представителям их расы не сыскать нигде. И это не фантазия, не кошмарный сон! Действительное событие, о тяжком уроне от которого – сколько утрат, разбитых судеб, горя! – можно судить по мрачной пелене скорби, которая облаком нависает над этим залом даже через два с лишним месяца после ужасных событий. Нельзя стереть, нельзя вычеркнуть эти вопросы, они не исчезнут, не растворятся или, по выражению барда, не рас-

сеются как дым, как утренний туман. Мы не можем отмахнуться от них. Они преследуют нас, подобно видению угрожающей черной руки над светлой головкой уютно спящего ребенка. Подобно воспоминанию о звуке чьих-то вороватых шагов в мирном шелесте цветущего сада. Как могло такое случиться? Из какого темного источника вытекло? Не случится ли снова?

Грей опять выдержал паузу и вновь повернул ко мне широкое красное лицо – безучастный, спокойный, он взирал на меня, как всегда, без враждебности. Нет, меня не очень удивляло то, что он говорил теперь красноречиво и властно, и совсем без неряшливо-снисходительных обертонов и полуграмотных «дык-елы-палы-че-там» оборотов, к которым прибегал в тюрьме. Было ясно, что это он, а не прокурор Тревант, всем тут заправляет.

– Как могло такое случиться? Из какого темного источника вытекло? Не случится ли снова? – Тут он опять выдержал паузу и, кивнув на лежащие на столе бумаги, сказал: – Ответ лежит здесь, он в признаниях Ната Тернера! – Он снова повернулся и обратился к суду, но на какое-то время его слова заглушила древняя беззубая негритянка, которая принялась грохотать печной дверцей, чтобы подкинуть еще кедровое полешко; печь испустила облачко синего дыма и сноп искр. Дверца с лязгом захлопнулась, старуха зашаркала прочь. Грей кашлянул, затем начал вновь:

– Достопочтенные судьи, как можно короче я попытаюсь

продемонстрировать, что парадоксальным образом признания нашего подзащитного, вместо того чтобы встревожить нас, повергнуть в оцепенение и ужас, как раз наоборот, дают веский повод испытать облегчение. Излишне говорить, я не предлагаю после всего содеянного обвиняемым не принимать должных мер – в отношении данной категории людей нужны более суровые законы и неукоснительное их соблюдение. Напротив: в первую очередь это ужасное восстание показывает, что жесткие репрессивные меры явно назрели, и не только в Виргинии, но по всему Югу. Однако, ваша честь, уважаемые коллеги, я бы хотел, чтобы не было недомолвок в отношении того, что все такого рода восстания будут скорее всего не только весьма редкостны, но и полностью обречены на провал вследствие изначальной слабости и неполноценности, а также нравственной порочности негритянского характера. – Грей поднял со стола стопку бумаг с признанием, наскоро перелистнул и продолжил:

– За время восстания, ваша честь, белых погибло пятьдесят пять человек, однако своими руками Нат Тернер совершил только одно убийство. Одно, а именно убийство мисс Маргарет Уайтхед, восемнадцати лет, которая была приличной и благовоспитанной дочерью миссис Кэтрин Уайтхед, также жертвы беспорядков, и сестрой мистера Ричарда Уайтхеда, уважаемого методистского священника, многим в этом зале известного; к нему судьба тоже оказалась жестока, и он схожим образом пал по произволению той же бесчеловечной

шайки. Похоже, теперь уже доказано: одно убийство – это все, что совершил Нат Тернер. Убийство особенно подлое и отвратительное, несомненно, ибо он лишил жизни хрупкую девушку в расцвете ее невинности. Но одно! Я уверился в этом. Уверился, ваша честь, лишь после долгих и мучительных сомнений. Ибо, конечно же, точно как и вы сейчас, я не мог в это поверить, более того, я был уверен в обратном, когда взялся взвешенно размышлять над сей уликой, полученной из уст самого подозреваемого. Не равносильно ли признание в одном убийстве – только в одном-единственном – лукавому прощению о помиловании? Не является ли такое признание – вполне в духе негритянского характера, обожающего притворство и симуляцию, – типичным примером уклончивости, к которой негры постоянно прибегают, пытаясь скрыть и замаскировать изначальные качества своей природы? Вследствие этого я принял решение противостоять подзащитному, подвергая его показания строгой критике и высказывая сомнения, но обнаружил лишь, что он тверд в своем отказе признать какое-либо еще участие в имевших место убийствах. И в тот момент – да простит мне суд легковесность слога – я начал сильно сомневаться в своих сомнениях. В самом деле, почему бы человеку, который знает, что все равно должен за свои деяния умереть, ибо уже взял на себя одно кошмарное убийство, да и в остальном, что касается описания своих преступлений, выказывает редкостную откровенность, – почему бы ему не взять на себя *все*?

«Он кару заслужил свою, – цитирую я бессмертную поэму Кольриджа⁹, – и кару понесет». Чем помогло бы ему дальнейшее заперательство? – Грей подождал, затем двинулся дальше: – Так, не без некоторого внутреннего сопротивления, я пришел к выводу, что в отношении этой *beaucoup*¹⁰ важной частности – убийства одного, и только одного человека – подзащитный говорил правду...

Но почему? – продолжил Грей. – *Почему* только одного? То был следующий вопрос, адресованный мною самому себе и поставивший меня в тяжелое и неприятное замешательство. Ну легче всего такую странность объяснить трусостью. Конечно, свое сущностное воплощение в этом подлом преступлении могла найти и чисто негритянская трусость – чем драться с мужчиной, сильным и мужественным, проще ведь напасть на хрупкую, слабую, незащитную юную деву, всего пару лет назад вышедшую из детского возраста. Однако опять-таки, уважаемые коллеги, логика и голые факты вынуждают нас признать, что это восстание требует пересмотреть, по крайней мере условно, некоторые из наших традиционных предубеждений, касающихся негритянской трусости. Ибо, конечно же, какими бы ни были пороки негритянского характера – а их много, разнообразных и тяжелых, – данное восстание превыше всякой мелочной критики доказало, что нормальный раб, негр, поставленный перед выбо-

⁹ Кольридж, С. Т. (1772–1834) – английский поэт-романтик.

¹⁰ Весьма (*фр.*).

ром – присоединиться ли к фанатичным повстанцам с предводителем вроде Ната Тернера или защищать хозяина как отца родного, бросится на защиту хозяина и будет драться не менее храбро, нежели любой другой мужчина, тем самым неоспоримо свидетельствуя в пользу благотворности системы, которую порицают невежественные квакеры и прочие лицемерно морализирующие клеветники. «Неведомое преувеличивают», – рек Тацит¹¹ в «Агриколе». Но довольно о неосведомленности северян. Вне сомнения, были и заблудшие, они стали приверженцами Ната Тернера. Но храбрость тех чернокожих, которые бок о бок со своими любимыми хозяевами бились не на жизнь, а на смерть, отрицать невозможно, и да пребудет она на нетленных скрижалях памяти к вящей славе нашего мудрого общественного устройства...

По мере того как Грей все это говорил, та же мука и отчаяние, которые я почувствовал в первый день, когда он огласил мне в камере список рабов, после суда освобожденных или осужденных, но не повешенных – *другие негры... силой втянуты... препятствовали, вот те другие негры и закопали тебя, Проповедник*, – то же отчаяние вдруг накатило холодной тошнотной волной, слившись со сном, в котором я только что, пару минут назад, видел, как юноши-негры кричат от ужаса в болоте, пропадают, утопая в вонючей жиже... Я был весь мокрый, пот струйками тек по щекам, и все внутри у ме-

¹¹ Тацит, Публий Корнелий (Publius Cornelius Tacitus) (ок. 58 – после 117) – римский писатель-историк.

ня было раздавлено тяжестью вины и утраты, и от этого у меня из горла, видимо, непроизвольно вырвался какой-то звук, или я, шевельнувшись, звякнул цепью, опять-таки непроизвольно, но Грей внезапно смолк, повернулся и уставился на меня, как и все шестеро старцев за судейским столом, и все зрители ощутимо сошлись на мне взглядами – помаргивающие, внимательные. Тогда я медленно расслабился и, холодно внутри себя пожав плечами, стал смотреть сквозь запотевшие окна на чахлый сосновый лесок невдалеке, ломаной линией верхушек перечеркивающий зимний небосклон, как вдруг поймал себя на том, что безо всякой на то особой причины, кроме еще раз прозвучавшего ее имени, мысленно вижу Маргарет Уайтхед, окруженную летним благоуханием, среди беглого чередования света и тени – пыль клубится над запекшейся колдобистой летнею дорогой, и чистый ее голосок по-девчоночьи чирикает, щебечет мне в самое ухо с соседнего сиденья коляски, а я гляжу на цокающие копыта лошади, над которыми машет туда-сюда, вьется грубый хвост: *И тут он входит сам, представь, Нат, – губернатор! Губернатор Флойд! Приехал, в такую даль – в Лоренсвилль! Нат, ну признайся, ничего чудесней тебе и в жизни не случилось слышать!* Дальше мой голос – вежливый, уважительный: *Да, мисси, это, должно быть, правда было здорово. И вновь задышливо щебечущий девчоночий голосок: И в нашей гимназии, Нат, устроили большое празднование. И как же здорово-то все получилось! А я у нас в классе первый*

поэт, так я взяла и написала оду, а еще песню, ее младшеклассницы пели. При этом они надели на губернатора венок. Хочешь послушать слова той песни, Нат, правда хочешь? И снова мой голос, торжественный и почтительный: Ну конечно, мисси, хочу, конечно. Ясное дело, я очень хочу послушать ту песню. И снова радостный девчоночий голосок заливисто звучит в моих ушах, перекрывая стук колес и скрип рессор, и белые горы плывущих по небу июньских облаков бросают на желтеющие поля обширные полосы света и тьмы, неуследимые узоры солнца и тени:

Сплели мы венец Вам из разных цветов,
Украшили лентою алой,
Чтоб Вы, отдыхая от дум и трудов,
Сегодняшний день вспоминали.
Вот этот цветок, что так скромен и прост —
Росою омыт на рассвете, —
На стебле высоком под солнышком рос,
Все ждал, чтоб нашли его дети.

И вновь возвратившийся голос Грея заплывал волнами под сводами зала среди непрерывного шарканья, среди шипения, свиста и мучительных выщелков печи, пыхтящей, будто старая собака:

— ...нет, ваша честь, не трусливость негритянская на сей раз лежит в основе вопиющего и тотального поражения нашего подзащитного. Будь это просто трусость, Нат руково-

дил бы всеми действиями откуда-нибудь издали, что позволило бы ему гораздо меньше замараться, а может, и вообще не принимать непосредственного участия в кровавых деяниях шайки. Но мы, по собственному свидетельству подсудимого, а также по свидетельствам ниггера... негра Харка и других (исключающих повод для каких-либо сомнений), знаем, что он был вовлечен в происходящее наитеснейшим образом, сам нанес первый удар, положивший начало бойне, и неоднократно пытался чинить кровавое насилие над напуганными безвинными жертвами. – Грей сделал небольшую паузу, затем сказал с нажимом: – Но я прошу отметить, ваша честь, *пытался!* Я выделяю и подчеркиваю это слово. Я пишу его заглавными буквами. Потому что, за исключением необъяснимо успешного убийства Маргарет Уайтхед, – а оно и по мотивации необъяснимо, и по исполнению довольно странно, – подсудимый, этот якобы дерзновенный, бестрепетный и находчивый главарь, не смог совершить ни одного *ратного подвига!* Но и это еще не все: под конец качества лидера, даже и те, что были, совсем его покинули! – Грей помолчал опять, затем продолжил негромко, отдельно, с печалью в голосе: – Я бы хотел лишь смиренно сообщить высокому суду и вашей чести тот неопровержимый факт, что нерешительность, нестойкость, духовная отсталость и просто привычка к послушанию столь глубоко укоренились в природе негра, что любые бунтарские действия со стороны представителей этой расы обречены на провал, вот почему

я искренне призываю всех добрых граждан нашего южного края не поддаваться, не давать хода в свою душу двойному демону страха и паники...

Но слушай, Нат, слушай дальше...

Да, мисси, слушаю, конечно. Это чудесные стихи, мисс Маргарет.

Потом мы искали – весь сад обошли —
Цветок, чтобы горд был и ярок,
И самый красивый для Вас мы нашли,
Чтоб вышел достойным подарок.
О, дайте надеть Вам сей пышный венец,
Обвязанный лентою алой;
Нам только и надо – чтоб Вы, наш отец,
О нас иногда вспоминали!

Вот! Теперь все, конец. Что скажешь, Нат? Тебе понравилось?

Это очень красивые стихи, мисси. Снова круп лошади, гнедой, лоснящийся, и уже медленнее цокот копыт – чук-чок, чук-чок мимо зеленого луга, крест-накрест простеганного стрекотом насекомых; я тоже медленно поворачиваюсь и всматриваюсь исподтишка в ее лицо сторожким, ускользающим негритянским взглядом (поучение некоей старой черной бабуся всегда звучит во мне, даже сейчас: «Белому в глаза глянешь – хлопот не оберешься»), ловлю отблеск солнца на гладкой и прозрачной белой коже прелестно вылеплен-

ной щеки, а носик чуть вздернут, и на круглом юном подбородке тень от кокетливой ямочки. Она в белом капоре, из-под которого выбиваются шелковистые пряди русых волос, невзначай придающие ее скромной девической красоте чуть заметный оттенок шаловливой чувственности. В белых ее воскресных льняных доспехах она вспотела, а я так близко, что обоняю запашок ее пота – острый, женственный, тревожащий; и вот раздается ее залиvistый, по-девчоночьи беспричинный смех, вот она утирает капельку пота с носа и вдруг поворачивается – эх ведь! застигла врасплох: смотрит мне прямо в глаза с видом радостным, веселым и невольно кокетливым. Смущенный, сбитый с толку, я торопливо отвожу глаза. *Жаль, что ты не видел губернатора, Нат. Такой видный мужчина! Кстати, да, чуть не забыла. Об этом был отчет в «Саутсайд Репортер», и они упомянули мое стихотворение и меня! Газета у меня здесь, вот, слушай.* Какое-то время она молча роется в сумочке, потом под стук копыт начинает быстро читать возбужденным, срывающимся голосом..... *Затем губернатора проводили в актовъый зал, где более сотни гимназисток, собравшихся встречать его, выстроились стройными рядами, а заранее собравшийся кружок выдающихся дам наблюдал за сценой встречи. После официальных приветствий прозвучало выступление директора, на которое губернатор Флойд дал прочувствованный и вдумчивый ответ. После чего юные леди спели специально написанную для этой встречи оду на мотив «Пусть гря-*

нут цимбалы» под аккомпанемент мисс Тимберлейк на фортепиано. Затем от имени учителей школы мисс Ковингтон произнесла речь, превзойти которую по стилю, пафосу и красноречию было бы нелегко... (А теперь слушай, Нат, это обо мне...) За речью последовала ода, сочиненная мисс Маргарет Уайтхед, по окончании которой младшие ученицы, как бы в продолжение оной, спели песенку «Венец из цветов», одновременно возлагая на губернатора венок. Это имело эффект поразительный – чуть ли не каждый в зале прослезился. Сомневаюсь, приходилось ли губернатору где-либо наблюдать более трогательную сцену, нежели здесь, в нашей местной женской гимназии, исполненной высочайших принципов христианского женского образования...

Что ты на это скажешь, а, Нат?

Ну, это просто здорово, мисси. Просто здорово и грандиозно. Да, да, именно грандиозно.

На несколько секунд воцаряется тишина, затем: *Я подумала: наверное, и тебе понравится стихотворение. Ах, я даже знала, что понравится! Потому что ты... о, ты не такой, как мама или Ричард. Каждый уик-энд, когда я приезжаю из школы, ты единственный, с кем я могу поговорить. Все, о чем может думать мама, это урожай – ну то есть лес, зерно, стадо и все такое, – и все деньги, деньги. Да и Ричард не многим лучше. В том смысле, что, хотя он пастор и все такое, в нем ничего, ну ничегошеньки нет духовного. Например, они ничего не понимают в поэзии, – вообще*

в духовности, да даже и в религии. Вот третьего дня хотя бы, я Ричарду что-то сказала о красоте псалмов Давида, а он и говорит, да с таким еще перекошенным, кислым видом: «Какая еще красота?» Скажи, Нат, ты можешь это себе представить? Такое услышать от собственного брата, да еще и пастора! А какой твой любимый псалом, Нат?

Какие-то секунды я молчу. Мы опаздываем в церковь, так что, постукав лошадь по крупу кнутовищем, я понуждаю ее пуститься вскачь, пыль клубится и поднимается волнами от ее танцующих ног. Потом я говорю: *Это не так-то просто сказать, мисс Маргарет. Есть целая куча псалмов, я очень многие люблю. Хотя, пожалуй, больше всех я люблю тот, который начинается «Помилуй меня, Боже, помилуй меня; ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Сделав паузу, я продолжаю: Воззову к Богу всевышнему, Богу, благодетельствующему мне». А потом говорю: Так он начинается. Это номер пятьдесят шестой.*

Да, да, – говорит она своим тихим, тающим голоском. – Да, это тот, в котором есть такой стих: «Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано». Она говорит, а я чувствую, как она близко, и это так томительно, тревожно, меня почти пугает трепет и подрагивание льняного платья, задевающего мой рукав. Да, да, такой прекрасный псалом, что хочется плакать. Ты так хорошо знаешь Библию, Нат. И так хорошо понимаешь вещи, ну, духовные. Я к

тому, что, ну в смысле... – забавно, но когда я рассказываю девочкам в гимназии, они мне не верят. Не верят, что, когда я приезжаю домой на уик-энды, единственный человек, с которым я могу общаться, это, ну – чернокожий!

Я молчу, только чувствую, как у меня сердце начинает биться часто-часто, хотя я и не понимаю причины этого.

А мама говорит, ты уходишь. Возвращаешься назад к Тревисам. А Маргарет от этого печально, потому что целое лето ей будет не с кем поговорить. Но они же всего в нескольких милях, Нат. Ты ведь придешь как-нибудь, а, Нат, придешь как-нибудь в воскресенье? Даже если не будешь больше возить меня в церковь? Без разговоров с тобой мне будет так одиноко – ну что некому будет мне цитировать Библию, в смысле, что никто так глубоко, как ты, ее не знает и все такое... Она все лепечет, чирикает, голосок такой радостный, напевный, исполненный христианской любви и христианской добродетели, голос юности, до дрожи одержимой Христом и новизной мира. Не правда ли, Евангелие от Матфея самое проникновенное! А доктрина воздержания – правда же, какой благородный, чистый и правильный вклад методистской церкви? А Нагорная проповедь – это ведь самое удивительное откровение за всю историю человечества, верно? Мое сердце по-прежнему чуть не выскакивает из груди, и вдруг меня охватывает мучительная, беспричинная ненависть к этой невинной, мило порхающей юной девушке, возникает жгучее, почти непреодолимое желание

вытянуть руку и стиснуть ее белую, стройную, пульсирующую шейку. Однако – и самое странное, что я отдаю себе в этом отчет, – это вовсе *не ненависть*, нет, тут что-то другое. Но что? Что же? Эмоцию поймать не удастся. Где-то ближе к ревности, но опять нет, и это не то. Да и чего ради из-за этого нежного существа должен я пребывать в таком злом смятении – совершенно непонятно, ведь за исключением давнишнего моего хозяина Сэмюэля Тернера да еще разве что Джереми Кобба, она единственный белый человек, с которым я хотя бы раз испытал мгновение загадочного тепла и слияния во взаимной симпатии. И тут я разом осознаю, что как раз из этой симпатии – столь же непреодолимой с моей стороны, сколь и ненужной, только мешающей великим планам, которые этой весной как раз складываются в окончательное, фатальное сооружение, – из этой симпатии и произрастают моя внезапная ярость и смятение.

Зачем ты так скоро возвращаешься к Тревисам, Нат? – спрашивает она.

Так ведь, мисси, меня же маса Джо сдал по обмену и только на два месяца. А обмен – это уж такое дело. Договор, говорят, дороже денег.

Что? Как это? – она озадачена. – Какой обмен?

Так ведь, мисси, я же как попал-то к вашей матушке. Маса Джо – он хотел пни корчевать, так ему для этого упряжка волов понадобилась, а мисс Кэти нужен был ниггер строить новый сарай. Вот маса Джо и поменялся с ней на два

месяца, отдал меня за воловью упряжку. Честный обмен, обычная договоренность.

Она издает долгое задумчивое мычание. Мм-м-м. За воловью упряжку. То есть ты, значит... Как-то это очень странно. На некоторое время она замолкает. Затем: Нат, почему ты так сам себя называешь – ну ниггером? Я – в смысле – это как-то звучит, ну грустно, что ли. Я бы предпочла слово «чернокожий». Ты ведь все-таки проповедник как-никак... Ой, смотри, смотри, Нат, церковь показалаась! Гляди-ка, Ричард стену уже целиком покрасил!

Но вот опять дымка нежных грез в сознании истончается, и я слышу адресованную суду речь Грея:

– ...без сомнения, наслышаны, а может быть, даже и читали весьма значительную работу покойного профессора Еноха Мибейна из Университета Джорджии в Афинах – труд еще более фундаментальный и основанный на куда более обширных и скрупулезных исследованиях, чем упомянутый опус профессоров Сентелла и Ричардса, откуда взята цитата. Ибо, тогда как профессора Сентелл и Ричардс с богословской позиции показали врожденную, природную, изначально присущую неграм недоразвитость в плане морального выбора и христианской этики, то достижением профессора Мибейна явилось неоспоримое, не оставляющее йоты сомнения доказательство биологической неполноценности черной расы. Поскольку суду, конечно же, известна монография профессора Мибейна, я позволю себе освежить в вашей па-

мяти ее содержание лишь в общих, самых основных чертах, а именно, что все параметры головы ниггера – косо срезанный подбородок (эту особенность профессор Мибеин характеризует количественно – индексом лицевого угла); покаты́й череп с нелепыми, нависающими, как у обезьяны, надбровными дугами и таким соотношением горизонтальных и вертикальных размерений, что в нем попросту нет места для лобных долей мозга, которые у других рас ответственны за развитие высших моральных и духовных запросов; да взять хотя бы толщину самой черепной кости – она напоминает не столько соответствующую кость человека, сколько кость низшего тяглогового скота. В совокупности эти параметры весомо и доказательно свидетельствуют, что негр занимает в иерархии видов в лучшем случае срединную позицию, родство же негра с людьми других рас достаточно сомнительно, зато гораздо ближе он стоит к лесной макаке, что водится на том диком континенте, откуда он родом...

Грей остановился и, словно переводя дыхание, подался вперед, возложил обе ладони на стол, опершись на него всем весом, и устремил взор на судей. В зале тишина. Притихшая публика, помаргивая в парном воздухе, казалось, ловит каждое слово Грея так, будто во всяком слоге может содержаться намек на обещание некоего откровения, которое развеяло бы страх, напряженность и, наконец, горе, сплотившее всех воедино, каждого с остальными, нанизав всех на один тонкий болевой стержень истерического женского воя, что все

время присутствовал где-то в глубине зала – единственный звук среди молчания, необузданный и неизбывный. От наручников у меня онемели руки. Я пошевелил пальцами, они ничего не чувствовали. Грей прочистил горло, затем продолжил:

– А теперь, достопочтенные судьи, я попрошу вас разрешить мне один перескок в рассуждениях. Разрешите мне связать приведенные выше безупречные выводы, сделанные профессором Мибейном из его биологических изысканий, с представлениями еще более выдающегося мыслителя, а именно великого немецкого философа Лейбница¹². Всем вам, конечно же, знакомо введенное Лейбницем понятие монады. Мозг каждого из нас, согласно Лейбницу, наполнен монадами. Эти монады, коих миллионы и миллиарды, суть крошечные, бесконечно малые умственные ячейки, *стремящиеся к развитию* в соответствии с их собственной предопределенной сущностью. А теперь как хотите – можете воспринимать концепцию Лейбница буквально, можете (как это делаю я) понимать ее до какой-то степени в символическом аспекте, но факт остается, и факт, похоже, неоспоримый: духовную и этическую организацию сознания индивида можно изучать и понимать не на одном лишь *качественном* уровне, но и на *количественном* тоже. Это вытекает из того, что собственно *стремление к развитию* – эти слова я выделяю и

¹² Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646–1716) – немецкий философ, математик, физик, языковед.

подчеркиваю – не может, в конце концов, быть не чем иным, как только производным от числа монад, которое в данном индивидуальном сознании способно содержаться.

Он перевел дух, потом сказал:

– И тут, ваша честь, мы вскрываем сердцевину проблемы, которая, если рассмотреть ее со вниманием, приведет нас только лишь к самым оптимистичным выводам. Ибо негр, с его несформированным, примитивным, почти рудиментарным черепом, страдает от серьезной нехватки монад, настолько серьезной, что упомянутое *стремление к развитию*, которое в других расах дает нам таких людей, как Ньютон, Платон или Леонардо да Винчи, либо высочайших гениев техники, таких, как Джеймс Уатт, – так вот, упомянутое *стремление к развитию* у негра заторможено чрезвычайно, да что там, затруднено до невозможности; так что, с одной стороны, мы имеем восхитительный музыкальный дар Моцарта, а с другой – приятное, но ребяческое и невдохновенное гулюканье; с одной стороны, величественные сооружения Кристофера Рена¹³, а с другой – невразумительные артефакты вроде глиняных черепков из африканских джунглей; с одной стороны, блестящий полководческий талант Наполеона Бонапарта, а с другой – тут он прервался, сделав жест в мою сторону, – с другой, бессмысленные, жалкие и ни к какой разумной цели не ведущие убийства Ната Тернера, из-

¹³ Рен, Кристофер (1632–1723) – английский архитектор, математик и астроном, представитель классицизма.

начально обреченного на полное поражение вследствие биологической и духовной неполноценности негритянского характера! – Голос Грея стал повышаться, обретая силу. – Достопочтенная коллегия, я опять-таки не хочу приуменьшать ни зверских деяний подзащитного, ни нужды в жестком контроле над данным сегментом населения. Но если этот суд призван просветить нас, он также должен дать нам повод для надежды и оптимизма! Он должен показать нам – причем, я полагаю, признания подзащитного уже это сделали, – что мы не должны при виде негра в панике разбегаться! Столь грубо построены были злодейские ковы, так неловко и бессмысленно они приведены в действие...

И вновь его слова у меня в ушах гложут, я прикрываю глаза – и в полусне опять ее голос, чистым колокольчиком раздававшийся в то дремотное воскресенье полгода назад: *Ой-ей-ей, Нат, не завидую тебе. Сегодня же миссионерское воскресенье. День, когда Ричард читает проповедь для чернокожих!* Спрыгнув с коляски, она бросает на меня светлый, печальный взгляд. *Бедный Нат.* И убегает вперед, залитая чистым, слепящим светом; бежит на цыпочках, шурша льняными юбками, и исчезает в притворе церкви, куда я тоже вхожу; тихонько, остороженько, пока никто не видит, по черной лестнице взбираюсь на балкон, надстроенный для негров, и уже по дороге слышу голос Ричарда Уайтхеда, как всегда гнусавый и писклявый, почти женский – даже сейчас, когда он обрушивает громы и молнии на черную потеющую

паству, среди которой усаживаюсь и я: *И подумайте сами в себе, сколь ужасная будет вещь, если после всех ваших трудов и страданий в этой жизни низвергнуты будете в ад в жизни вечной, и после того как изношены будут ваши тела в трудах земных, когда земное рабство кончится, попадете в гораздо худшее рабство, ибо ваши души попадут во владение дьявола, чтобы в аду оказаться в вечном рабстве без всякой надежды на освобождение от оногo...*

Высоко над белой паствой, под церковной крышей, где, как в печи огненной, удушающая влажная жара пылает и плывет мириадами роящихся пылинок, человек семьдесят с лишним негров, собравшихся со всей ближней округи, сидят на расшатанных сосновых скамьях без спинок, а то и прямо на корточках на скрипучем полу балкона. Быстрым взглядом я окидываю толпу, замечаю Харка и Мозеса, киваю Харку, с которым не виделся почти два месяца. Негры слушают внимательно, сосредоточенно, некоторые из женщин обмахиваются тоненькими сосновыми драночками, все смотрят на пастора немигающими глазами огородных пугал, и я навскидку по одежкам могу определить, кто из белых чей хозяин: если Ричард Портер, Дж. Т. Барроу или вдова Уайтхед (то есть по-настоящему богатые господа), то одежды рабов чистые, аккуратные, на мужчинах бумазейные рубахи и свежестырированные штаны, на женщинах платья из набивного ситца и красные платочки в горошек, у некоторых даже дешевенькие серьги и брошки; те, чьи хозяева победнее – вро-

де Натаниэля Френсиса, Леви Уоллера или Бенджамина Эдвардса, – одеты в замызганные, латанные-перелатанные тряпки, кое-кто из сидящих на корточках мужчин и мальчишек вовсе без рубах – сидят, ковыряют в носках, почесываются, на спинах блестят струйки пота, и вонь от них стоит до небес. Я сажусь на скамью у окна, где есть место между Харком и тучным тупорылым рабом по имени Хаббард, который прямо на голые шоколадного цвета вислые плечи напялил брошенный кем-то из белых истрепанный цветастый жилет, причем даже сейчас, когда он добросовестно внимает проповеди, его губы тронуты глупой, заискивающей ухмылкой льстеца. Внизу под нами – кафедра, поставленная выше белой паствы, за ней в черном костюме и черном галстуке бледный и стройный Ричард Уайтхед; обращая очи горе, нынче он наставляет на путь истинный нас – тех, что сгрудились на балконе под крышей: *...и поэтому, если хотите в раю стать Божьими свободными людьми, надо стараться быть добрыми христианами и служить Господу здесь, на земле. Тела ваши, как известно, вам не принадлежат: они находятся в распоряжении ваших хозяев, но драгоценные души всегда при вас – никто и ничто не может отнять их у вас, разве что только по собственной вашей вине. Не забывайте, что если из-за праздной, нечестивой жизни потеряешь душу, ничего в этом мире не приобретешь и все утратишь в мире грядущем. Ибо ваши праздность и безнравственность обычно становятся известны, и за это здесь страдают ваши тела, но, что го-*

раздо хуже, если не покаетесь, не сокрушитесь в сердцах ваших и своих путей не исправите, несчастные ваши души будут страдать и томиться вечно...

Влетая через окна, проносятся черные осы, дремотно жужжат и бьются где-то под застрехой. Службу я слушаю вполуха: из тех же уст те же фальшивые, ненужные слова я слышу чуть ли не в десятый раз за столько же последних лет – они всегда одни и те же, не меняются, да это и не его слова, не он их придумал – скорее, это епископ Методистской церкви Виргинии раздал священникам текст, чтобы оглашали ежегодно: надо же как-то держать негров в страхе Божием. То, что проповедь действует, по крайней мере на некоторых, несомненно: даже и сейчас, когда у Ричарда Уайтхеда еще, так сказать, распевка, он лишь подходит к главному в своей речи, постепенно увлажняясь ликом, краснеющим словно в отсветах обещанного адского пламени; вокруг себя я замечаю довольно много тех, у кого в извечном негритянском легковерии и глаза выпучены, и челюсти отпали, и дрожь испуга пробегает по телам, а когда произносится тихое *аминь* и положено приносить молчаливые клятвы вечной покорности, они на нервной почве и от натуги начинают даже костяшками пальцев трещать. *Да, да!* – слышу я высокий взволнованный голос; потом тем же голосом, протяжно: *Оооооо-даааа, как это вееееерно! Ууйееееееаа!* Скопив взгляд, я вижу, что это Хаббард: бесстыже раскорячась и вихляясь на толстых ягодицах, он даже глаза зажмурил в

трансе молитвенной покорности. *Ууеееееааа!* – стонет, тянет нараспев этот толстый лакей, послушный, как ручной енот. Тут я чувствую на своей руке ладонь Харка, твердую, теплую и дружескую, и слышу его шепот: *Нат, эти тутюшние негры так на небо рвутся, того и гляди из штанов выскочат. Как поживаешь, Нат?*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.